



ВОЕННАЯ



БИБЛИОТЕКА



ШКОЛЬНИКА



ИЗДАТЕЛЬСТВО



«ДЕТСКАЯ



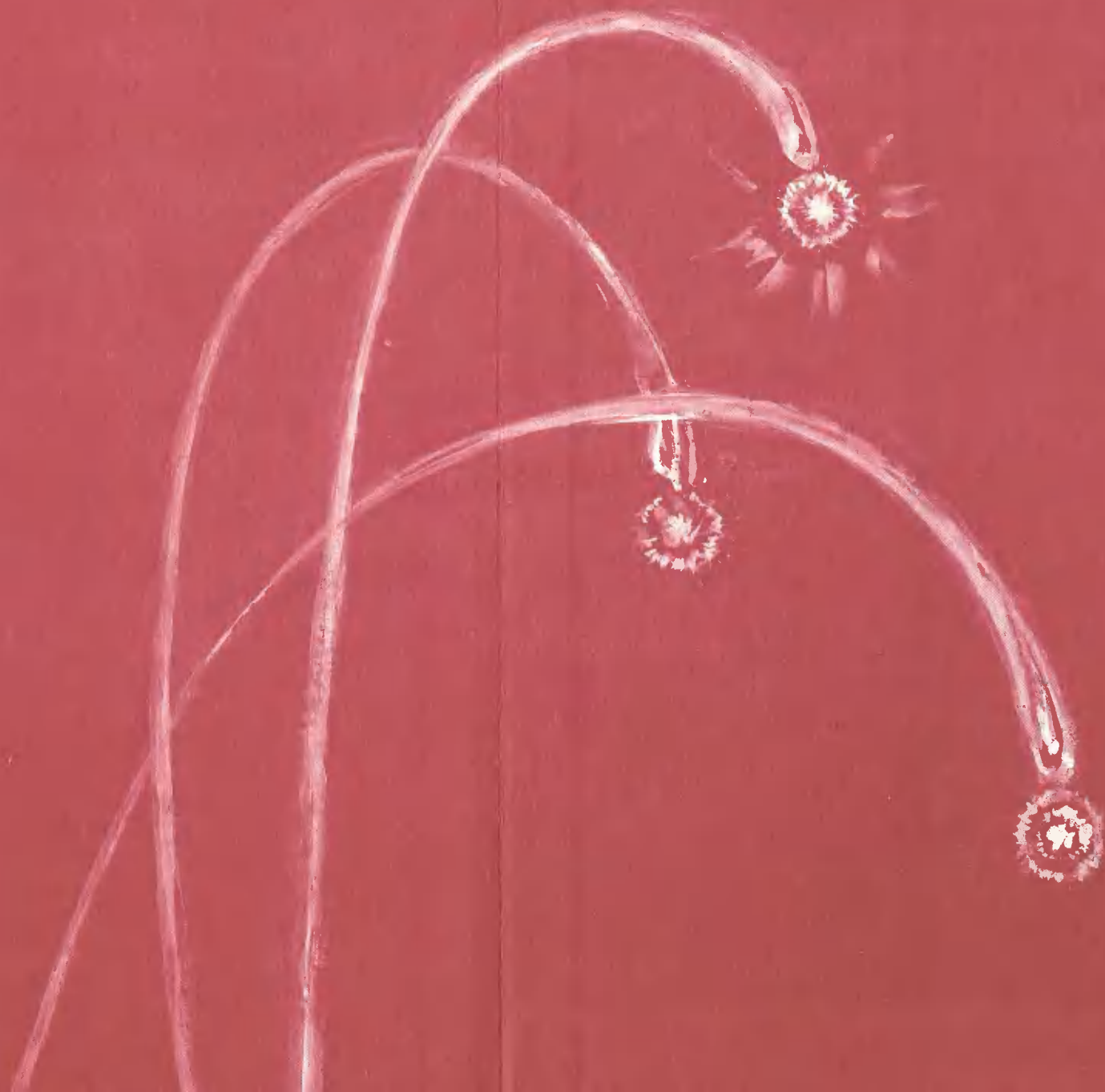
ЛИТЕРАТУРА»



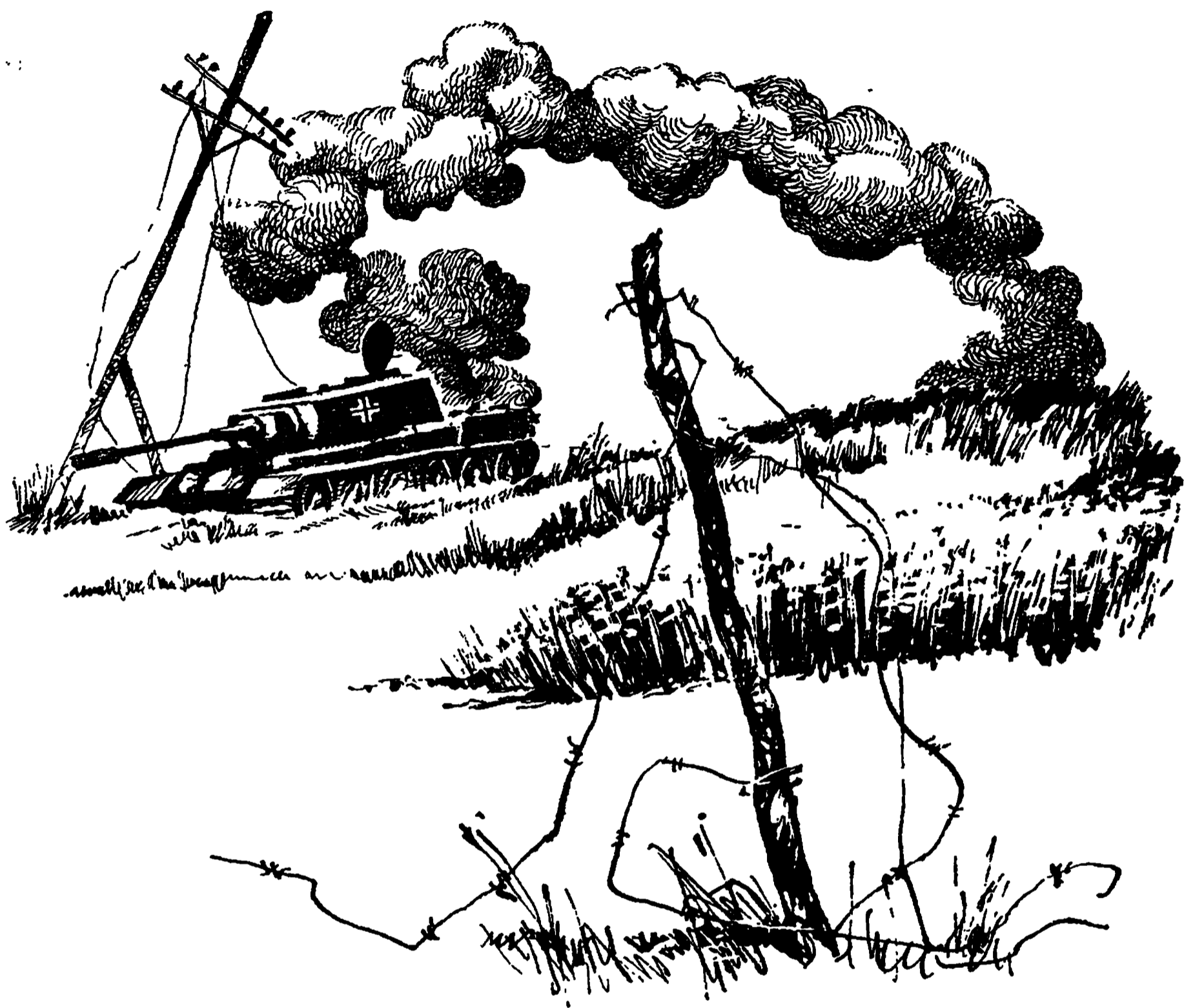
Анатолий Ананьев

ТАНКИ ИДУТ РОМБОМ











Анатолий Ананьев

***ТАНКИ
ИДУТ
РОМБОМ***

РОМАН

МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1986

P2
A64

Художник Г . Ф и л а т о в .

A $\frac{4803010102-522}{M101(03)86}$ 173—86

© Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1986 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Второй месяц батальон майора Гривы стоял в Соломках и так прижился в этой безлюдной, полуразрушенной деревушке и солдаты так привыкли к тишине, что как-то не верилось, что скоро снова начнется бой, что снова, как под Москвой, как у берегов седой Волги, загрохочет земля от залпов, запылают крестьянские избы и в чадном дыму поползут по пашням, по заброшенным опустевшим полям желтокрестые танки, подминая гусеницами едва-едва выбросившую колос пшеничную осыпь, а небо, это голубое чистое летнее небо, усеется пятнами зенитных разрывов; как-то не верилось, что вновь, как в сорок первом, как в памятное лето сорок второго по донским степям, потянутся по взгорьям и перелескам курской земли вереницы отступающих колонн к переправам, сгрудятся на станциях эшелоны и тысячи беженцев на скрипучих подводах, угоняя и увозя все, что можно угнать и увезти, страшным половодьем потекут по пыльным проселкам на восток. Как-то не верилось во все это. Думая о предстоящем бое, солдаты думали о наступлении. Многие надеялись на открытие второго фронта — должны же союзники в конце концов открыть этот злополучный фронт! Но союзники уже готовились принять другое решение. На военном корабле под глубочайшим секретом премьер-министр Англии Уинстон Черчилль в эти напряженные дни отбыл в Вашингтон. Он сидел в мягкой каюте, больше думая о своей безопасности, чем о тех событиях, которые происходили в мире, и, тихо поскрипывая пером, писал в Москву: «Я нахожусь в средней части Атлантики по пути в Вашингтон, чтобы решить там вопрос о дальнейшем ударе в Европе после «Эскимоса»... Если ничего не случится, моя следующая телеграмма будет отправлена из Вашингтона». В пути с ним ничего не случилось, он благополучно прибыл к месту назначения и, как и обещал, сразу же после

совещания с президентом направил телеграмму в Россию. Спокойным, холодным тоном оповестил он Советское правительство о том, что союзники не смогут открыть второй фронт в этом году, потому что «имелась надежда, что в апреле 1943 года в Великобритании будут находиться двадцать семь американских дивизий, в действительности же теперь, в июне, имеется лишь одна и к концу августа будут лишь пять», и еще потому, что «десантные суда втянуты в предстоящую большую операцию на Средиземном море». Эту операцию — вторжение в Сицилию, — носившую кодовое название «Эскимос», Черчилль считал настолько грандиозной, что она будто бы могла привести или, точнее, уже «привела к отсрочке третьего наступления Гитлера в России, к которому, казалось, велись большие приготовления шесть недель тому назад». Черчилль закончил свою телеграмму так: «Может даже оказаться, что Ваша страна не подвергнется сильному наступлению этим летом». Трудно, конечно, представить, чтобы английский премьер-министр был плохо осведомлен о действительном положении дел. Как раз в те дни, когда он сочинял это послание, в России, на двух фасах Курской дуги, немцы уже сосредоточили мощные ударные группы: одну — в районе Орла, другую — в районе Белгорода. Командующие группами фельдмаршал фон Манштейн и фельдмаршал фон Клюге уже получили последние наставления в ставке Гитлера и вылетели к своим войскам.

Между тем жизнь на фронтах шла своим чередом. Солдатам, за долгие месяцы обороны привыкшим к тишине, все же не верилось, не хотелось верить в скорые бои.

Стрекот кузнечиков, шелест подсыхающей травы, иногда приглушенный, иногда острый и звонкий — трущиеся листочки пырея как скрепленные клинки, — и небо над головой, высокое, безоблачное, всегда вызывающее ощущение вечности; и еще — нестареющая память, уводящая в прошлое, к родным местам, к теплу, уюту, та самая солдатская память, остужающая в зной, согревающая в стужу, без которой, как без винтовки, как без шинели, нет бойца; и еще, может быть, самое главное — ненависть к врагу, люта́я жажда мести. Если бы сейчас спросили Царева, о чем он думал, он не смог бы ответить точно, о чем. Просто было приятно лежать на спине, подставив солнцу оголенные до колен белые ноги, прислушиваться к шелесту травы, смотреть на небо и вспоминать; нечасто солдату, да еще на фронте, выпадают такие минуты.

Подошел Саввушкин, низкий, сухощавый и цепкий, как клещ. Карманы брюк его туго набиты семечками. Он молча присел рядом с Царевым.

— Уйди, — попросил Царев.

— Травы жалко?

— Уйди, говорю, слышишь? Не плюйся под ухом.

— Зря прогоняешь. Спросил бы лучше: может, новости у меня какие есть?

— Какие у тебя могут быть новости?

— Есть.

— Ну бреши, — все так же не глядя на Саввушкина, равнодушно согласился Царев.

— За «языком» пойдем сегодня.

— Кто сказал? — встрепенулся Царев.

— Я говорю, Саввушкин!

— Тьфу! — Царев опять лег на спину. — Уходи, добром прошу, уходи, покуда не встал...

— Как хочешь.

Царев расправил пилотку и снова прикрыл ею глаза. «Есть же на свете такие люди, — прислушиваясь к удалявшимся шагам Саввушкина, подумал он. — Придет, растревожит и пошел себе как ни в чем не бывало». Но на этот раз Царев ошибся. Вскоре и его и Саввушкина вызвал к себе командир взвода лейтенант Володин.

Тюменский лесник Царев был широк в плечах, приземист, ходил валко, как умеют ходить только коренные сибиряки; в больших ладонях, с детства знавших топор и лопату, — только взглянуть на эти ладони! — чувствовалась медвежья сила. Он был медлителен, вял, но, если уж брался за что, ворочал как ломовая лошадь. Саввушкин рядом с ним казался робким и хрупким. Покатые плечи, впалая грудь и тонкие сухощавые ноги придавали ему совсем мальчишеский вид. Родился и вырос он в Ставрополе, работал продавцом в сельпо и слыл первым бегуном в районе. В деревне так и звали его чемпионом. Эта кличка незаметно перекочевала за ним и в армию.

Царев и Саввушкин считались в полку лучшими разведчиками. Лейтенант Володин гордился ими, как своими воспитанниками; капитан Пашенцев называл их «надежной парой» и приберегал для особых заданий; знали об этих двух солдатах и в штабе полка, и даже в штабе дивизии. Вот почему, когда сегодня нужно было срочно достать «языка», выбор пал на Царева и Саввушкина. Инструктировал их сам командир батальона майор Грива. Задание важное, без «языка» возвра-



щаться нельзя. Что ж, Царев готов, Саввушкин — тоже; не раз и не два ходили они к фашистам в тыл, брали «языка», постараются и сегодня. Передний край противника знаком, всю весну стояли дуло в дуло с фрицами на этом участке, изучили. Ведь батальон лишь месяц назад отвели во второй эшелон. Отсюда, от Соломок, до передовой всего несколько километров — прямо по шоссе, через лесок — и вот они, окопы.

Вышли на шоссе, когда солнце было еще высоко.

Шли молча.

Железные подковки каблуков сухо скрежетали о дорожный гравий.

За поворотом открылось пшеничное поле. Неровным желтоватым клином сползает оно в лощину и теряется в густом ивняке. На раздольной, как волна, высоте, на самой ее вершине, в пыльной дымке копошатся люди; они растянулись по гребню, словно наступающая пехота, в длинную редкую цепь. Царев приостановился, взглянул на них из-под ладони: закладывают траншею. «Еще один оборонительный рубеж!» А по склону, над засохшими, почерневшими стеблями прошлогодних подсолнухов, то тут, то там, будто поставленные на дугу оглобли, торчат стволы вкопанных в землю орудий. Одна



батарея, вторая, третья... Да здесь целый дивизион! Откуда? Неделю назад Царев проходил по этому полю — ничего не было. Вот штука! Он обернулся, намереваясь поделиться с товарищем своим неожиданным открытием, но Саввушкин, приотстав, гнал перед собой, как футбольный мяч, консервную банку.

— Чего гремишь!

— Проминка. Ногам проминка.

«Мальчишка, дурь в голове, э-эх!»

Спустились в лог, потом шоссе снова вывело на косогор, и перед разведчиками развернулась холмистая с перелесками даль. За лесом в голубой дымке тонут белгородские высоты. Там — фашисты. И оттого высоты кажутся суровыми, насто-роженно холодными, чужими. А здесь, по эту сторону леса, в балках, на пригорках, на плоских вершинах холмов и по склонам — всюду двигаются едва заметные фигурки солдат; вгрызаются в землю, опутывают окрестность ломаными зигзагами траншей и ходов сообщений. В перелеске, среди нежных белоствольных берез, стоят укрытые зелеными ветками танки; издали они похожи на копны; много копен, и веет от них не пряным сеном, а удушливо-горьким запахом бензина и металла. В лощине, как черные колья, подняли к небу жерла тяжелые минометы. Они гнездятся по самой кромке кудрявого ракут-

ника. Над кустами клубится дымок походной кухни. «Сила-то, сила какая!» — мысленно воскликнул Царев, удивляясь и поражаясь тому, что видел вокруг. И хотя эта сила окапывалась, закреплялась, готовилась к упорной обороне, все же радостно было сознавать, что она есть, что вот она, ошетинилась жерлами и ждет только взмаха чьей-то могучей и твердой руки.

— Будут дела, чемпион, смотри! — Он хлопнул Саввушкина по плечу.

Тот удивленно взглянул на Царева:

— Какие дела?

— Смотри, брат, силища, а?

— Это-то?.. Эт-то я и сам вижу.

— Ни черта ты не видишь, чемпион. Брось тархтеть банкой, сапоги портишь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На въезде в Соломки, почти у самой обочины шоссе, виднеется пятнистая, цвета летней степи палатка. В ней живут девушки-регулирующие. День и ночь стоят они на развилке, пропуская бешеных мотоциклистов, лихих шоферов, медлительных и шумливых хозяйственников. Здесь пролегает одна из главных артерий фронта, и на ней беспрерывно пульсируют красные флажки загорелых, запыленных — только глаза и зубы — девушек. Командует регулировщицами угрюмый рыжеусый сержант Шишаков. Он проверяет документы у проезжих и строго, как свекор-ворчун, следит за девушками. Редко кто задерживается у палатки, стоит только присесть кому-нибудь, Шишаков хмурится и сердито произносит: «Проходи, проходи, товарищ, здесь нельзя». Особенно недолюбливает он соломкинских, из батальона майора Гривы, — блудливый народ. Лишь один лейтенант Володин пришелся ему по душе. Каждый раз, приходя на развилку, лейтенант приносил с собой пачку-две крепкой сибирской махорки и почтительно, как подарок, вручал старому сержанту: «Держи, папаша, отводи душу». Шишаков крутил рыжие усы, смотрел хитровато, из-под бровей, и качал головой, дескать: «Вижу тебя, лейтенантик, насквозь вижу, жука масленого!» Махорку тут же пересыпал в объемистый, как наволочка, кисет, затягивал его узелком и, кряхтя, прятал в бездонный брючный карман. Разговор обычно начинался с «как живешь» и заканчивался волновавшим тогда всех «вторым фронтом». Не стесняясь в выражениях, Шишаков

вовсю костерил Черчилля, Володин поддакивал ему, а сам то и дело украдкой поглядывал на дорогу — хоть бы машина, хоть бы мотоцикл! Наконец появилась машина, сержант, смоля толстую, в палец, самокрутку, отправлялся проверять документы, а лейтенант заходил в палатку к девушкам. Они угощали его чаем и охотно слушали разные фронтовые истории, которые Володин сам когда-то слышал, но о которых рассказывал обычно как очевидец. Нравились ему Людмила Морозова — белокурая веселая регулировщица; рассказам лейтенанта она не верила, смеялась над ним, называла «хвастушей», но ухаживания принимала благосклонно и однажды даже согласилась прогуляться с ним днем по селу. Но Шишаков не отпустил ее. Это случилось недавно, вернее сказать, вчера, Володин ждал Людмилу возле развалин двухэтажной кирпичной школы, ждал почти дотемна, а потом ушел в санитарную роту к фельдшеру Худякову.

Комбатовский мотоцикл, пыля, обогнул стадион и скрылся за плетнем. Володин отошел от окна. Теперь можно было снова расстегнуть воротник и снять пояс. Полуденная жара спала, но в комнате упорно держалась нестерпимая духота. Сегодня лейтенант особенно тяжело переносил ее. После вчерашней выпивки (а выпивал он в санитарной роте у фельдшера Худякова, где справлялись чьи-то именины; или старшей сестры, или самого фельдшера — Володин так и не мог припомнить теперь) болела голова и чувствовал он себя разбитым. Ни за что не хотелось браться, начатое утром письмо к матери так и лежало на столе неоконченным. Лечь бы и уснуть, забыть обо всем на свете; ни тебе разведчиков, ни этой проклятой девчонки... Он вспомнил, как вечером ходил на развилку к Людмиле и как вместо Людмилы с ним, пьяным лейтенантом, разговаривал рыжеусый сержант Шишаков; сержант рассказывал о своей молодости. Старый черт! Володин прошел к печке, вернулся к окну и опять прошел к печке. И, уже не останавливаясь, зашагал взад-вперед, медленно, заложив руки за спину, точь-в-точь как только что делал это уехавший на мотоцикле майор Грива.

Майор приезжал инструктировать Царева и Саввушкина, которых отправляли за «языком»; Володин вспомнил, как долго и назидательно говорил майор, как слушали его разведчики, то и дело повторяя: «Понятно, понятно!» — но Царев все же переспросил, дадут ли минера, чтобы расчистить проход к проволочным заграждениям; вспомнил еще, как сам он стоял у окна и больше смотрел на дорогу, на дремавшего у ворот в

коляске комбатовского мотоциклиста, чем на расстеленную на столе карту, — он знал наизусть эту карту с красными и синими линиями наших и вражеских траншей — и с нерешительностью думал о том, попроситься ему с разведчиками на задание или нет. Только когда солдаты вышли, Володин сказал командиру батальона: «Разрешите и мне с ними?» — но голос был так нерешителен и сам он казался таким вялым и сонным, что майор только недоверчиво покосился и ничего не ответил.

Ни о майоре, ни о Цареве, ни о Саввушкине — ни о ком не хотелось сейчас думать Володину; снова, как и утром, его охватил приступ гадливости: «Нахлестался, как дурак. И верно, что — пе-ехота!» Пятерней пригладил волосы, лениво потянулся и прилег на ободранный скрипучий диван. Чтобы как-нибудь избавиться от неприятного ощущения, взял со стола «Правду» и — в который раз сегодня! — прочел сообщения с фронтов. «Поиски разведчиков». Поиски! Завтра и про нас напишут так: «В районе Белгорода предпринимались поиски разведчиков...» Повернулся на бок и столкнул с дивана ногой сапожную щетку. Поднял ее, повертел в руках: вот чего не хватало ему сегодня — щетки! Именно сапожной щетки! Володин чуть не вскрикнул от радости. Сейчас он навощет сапоги — и на развилку!.. Решение пришло мгновенно, и он уже не пытался ни отменить его, ни как-либо изменить, даже не искал оправдания перед собой, — ведь только вчера дал клятву не ходить туда! — просто почувствовал себя свободно и легко, и эту легкость хотелось продлить как можно дольше. Когда вошел старший сержант Загрудный доложить, что Царев и Саввушкин уже отправились на задание, Володин не стал его слушать, попросил принести махорки.

— Закурить? — переспросил Загрудный.

— Пачку. Неужели забыл?

Старший сержант по-бычьему упрямо посмотрел на лейтенанта:

— Ребята не одобряют.

— Что не одобряют?

— Зачем она вам, девчонка эта...

— Вот что, Загрудный, — резко сказал Володин. — Не лезь в мои сердечные дела. Хочешь уважить, принеси, что прошу, а нет — сам достану.

Сначала тропинкой за огородами, потом краем оврага Володин шел к развилке.

Может быть, впервые в жизни он чувствовал себя так хорошо и бодро, может быть, впервые в жизни так жадно смотрел на окружающий его мир, и впервые, созвучный его душе, этот удивительный мир открывал перед ним свою красоту. Он видел все разом и видел каждую травинку в отдельности, любовался тем, что было рядом, у ног, и в то же время не мог оторвать взгляда от перелесков и холмов на широком, как размах, горизонте; прислушивался к звукам угасающего дня и прислушивался к себе, как бы проникал в глубь себя; и ему казалось, что все вокруг и он сам до краев наполнены счастьем. Смешным и нелепым сном казалась ему теперь прошедшая в пьяном чаду ночь. Нет больше того Володина, взъерошенного и пьяного, а есть другой — чистый и звонкий; и оттого, что между тем и другим лежала теперь черта и что эту черту провел он сам одним решительным росчерком, — именно это и радовало его сейчас. Было приятно идти краем оврага, слышать пение иволги и знать, что все прошлое — прошло, а будущее — будет; и еще знать, что есть на свете белокурая Людочка, которая, наверное, очень ждет.

Людмила Морозова дежурила на посту. Когда Володин, обогнув пригорок, вышел на дорогу и увидел ее, еще не зная, а только догадываясь, что это она, — сердце взволнованно забилось. Он остановился и смотрел теперь только на нее. Смотрел неотрывно, проникаясь нежностью. Все в ней казалось милым: и кирзовые сапоги с широкими голенищами, и узкая защитного цвета юбка, и гимнастерка с офицерскими карманчиками, туго обтягивавшая грудь. Сейчас она стояла неподвижно, опустив флажки, и смотрела на восток: там, за ее плечами, на тонущей в синеве равнине, чернели, как точки, бог весть когда сметанные стога.

Володин ждал: сейчас Людмила заметит и окликнет его, улыбнется, кокетливо запрокинет голову, и пилотка скользнет по мягким белым волосам.

Он вздрогнул, услышав за спиной хриловатый голос сержанта Шишакова:

— Пришел? Ну что ж, коли пришел, садись, потолкуем.

Говорил Шишаков степенно, и хотя Володин еще не оборачивался и не видел его, по шелесту отрываемой газеты и по тому недружелюбному тону, каким произнес сержант слова, понял, что у старика сегодня плохое настроение. Володин достал приготовленную для встречи махорку и все так же, не оглядываясь, как бы говоря этим: «Бери и уходи!» — протянул пачку за спину.

— Ишь ты, сибирская, — заметил старик слегка потеплевшим голосом. — А нам вчерась опять саратовскую давали. И то ладно, и то спасибо. Да что дали-то, осьмушку на три дня! Хоть кури, хоть смотри, а при нашей службе сколько за день пройдет да проедет всякого народу? Каждого угости. Попросит, где ж отказать? Достоешь... Ты, лейтенант, присаживайся, потолкуем.

Слышно, как Шишаков разгреб сапогами траву и, побряхывая, по-стариковски тяжело и грузно сначала припал на колени, затем сел и вытянул ноги. Долго еще сопел и мостился, усаживаясь поудобнее, ладонью стряхивал что-то с гимнастерки и сладко причмокивал губами. Володину неприятно было слушать возню старика; он знал, что, если сейчас повернется, увидит в радостно дрожащих руках знакомый огромный кисет, увидит багровое рыжеусое лицо с прищуренными от удовольствия глазами, сгорбленные покатые плечи с наискось пришитыми погонами и на погоне прилипшую засохшую макаронинку. В прошлый раз он видел такую макаронинку — надо же умудриться забросить ее на погон и ходить не замечая. Нет, Володин не хотел оборачиваться, уже одно то, что Шишаков был рядом, досадно коробило лейтенанта. А девушка продолжала стоять к ним спиной и любоваться надвигающимися с востока сумерками. За черными стогами, за уже померкшей в сизом тумане дубовой рощей слышалась тревожным сном родная земля.

— Садись, — снова пригласил Шишаков. — Разговор есть.

Ладонью на ощупь выбрав место, Володин нехотя сел.

— Так вот дела какие, — с минуту помолчав, продолжал Шишаков. — Ты, лейтенант, вот что, ты лучше не приходи сюда больше. Слышь, добром прошу.

Подавляя в себе неприязнь к ворчливому старику, Володин обернулся и как можно спокойнее спросил:

— Что случилось?

— Не ходи, не положено сюда.

— Скажи толком, что произошло?

Шишаков поднял брови, внимательно посмотрел в юное лицо лейтенанта.

— Хороший ты человек, рад бы для тебя и поступиться, но — приходить больше не приходи. Я, брат, порядок люблю. Порядок, он везде нужен. Даже и в семье и то без порядку не бывает. Ты вот приходишь сюда, а я, можно сказать, грех на душу беру. А на кой черт мне под старость грех этот? Я, брат, на службе, и у меня свое начальство есть. Случай что, кого

к ответу? Меня. Где ты, скажут, сержант Шишаков, был? Куда смотрел, скажут, сержант Шишаков? Не тебя ли, старого дурака, предупреждали? Давай-ка отвечай теперь! А каково мне хлопать глазами, а?

Ничего не понимаю.

— Тут и понимать нечего. Сказал не ходи — отрезал. Вот и весь разговор. Шишаков достал кисет, свернул новую сигарку. Сегодня утром ротный наш приезжал. Говорит, на двенадцатом посту и на седьмом троих комиссовали по беременности. Куда, спрашивается, отделенный смотрел? Теперь лычку с него снимут. А у меня в отделении — сколь уже месяцев? — ни одного случая. Ротный к награде обещал за отличную службу, а ты мне все подпортить можешь.

— Ты что, сдурел? Да я же просто...

— Просто, не просто, знаем мы вас!

Оттого ли, что лейтенант смотрел на него пристально и зло, или просто от боязни, что сказал резко и прямо, Шишаков предостерегающе поднял над головой руку. Володин усмехнулся, заметив этот боязливый жест; встал и, не обращая внимания на окрики приободrivшегося Шишакова, пошел к Людмиле.

По шоссе прямо на развилку двигалась большая колонна автомашин. Пришлось остановиться на обочине и переждать колонну. Мимо пронеслась, обдав теплым ветром, легковая машина. Володин не успел разглядеть, кто сидел в машине — полковник или подполковник? Следом за легкой прошли крытые штабные грузовики, а за ними на небольшой дистанции — мощные «студебеккеры» с прицепленными к ним длинноствольными противотанковыми орудиями. Они двигались попарно, с двух сторон обтекая регулировщицу. Из-под колес брызгами разлеталась дорожная галька. В клубах пыли трепетал над головой девушки красный флажок. Он то скрывался, как в тумане, то снова был виден хорошо и отчетливо, и тогда казалось — не колонна мчалась по шоссе, а флажок летел над автомашинами.

Когда опустело шоссе и пыль, оседая, свалилась за обочину, Володин вышел на дорогу.

— Людмила! — позвал он.

Девушка оглянулась. Сначала на лице ее появилась улыбка, будто она действительно обрадовалась встрече; потом озорно заблестели глаза, и она засмеялась, пока еще беззвучно, но явно осуждающе, и от этого смеха Володину сразу стало как-то неловко. Торопливо оглядел себя, смущаясь и краснея, потро-

гал звездочку на пилотке — все как должно быть. И вдруг услышал за спиной негромкое покашливание. Повернул голову: Шишаков стоял рядом и с усмешкой смотрел на него.

Володин почувствовал, как кровь прилила к вискам. Вплотную придвинулся к сержанту и прошептал:

— Старый мерин!

— Ну-ну-ну! — пятась, зачастил Шишаков.

Больше не говоря ни слова, Володин зашагал по шоссе в деревню.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

С командного пункта батальона разведчики отправились в расположение роты, где их уже поджидал минер Павлинов, выделенный для расчистки прохода в минных полях. Они шли по неглубокому извилистому ходу сообщения. Места знакомые. Сотни раз бывал здесь Царев, когда их батальон занимал этот участок обороны. Почти ничего не изменилось. Только местами пообвалились стенки да выцвела и потрескалась от бездождья красная глина. От стен веяло жаром, как от натопленной русской печи, и воздух был неподвижен и сух, а за бруствером, наверху, — в зеленых лопухах, в острых листочках пырея — заманчиво сквозил предвечерний прохладный ветерок.

У разбитой снарядом осины, где ход сообщения раздвигался (одно из отвлечений вело к пулеметам), Царев остановился.

Отсюда была хорошо видна высота, залитая вечерним солнцем, дремлющая, настороженно ошетилившаяся ржавыми спиралями колючей проволоки. По самому верху тянулась едва приметная желтая полоса — это вражеские окопы. Ни одной выбоины, ни одного укрытия на белесовато-зеленом пологом склоне. Только у самого подножия, перед проволочными заграждениями зияет воронка. Она кажется маленькой и круглой, как пятак. Подходы к заграждениям и окопам заминированы. Это Царев хорошо знает. Да и на командном пункте батальона только что говорили об этом. Мины уложены в траве и соединены тонкими, как паутина, проводами. Трудно придется минеру распутывать в ночи эту паутину. Распутает, на то он и минер.

Слева от высоты в немецкую линию обороны врежется глубокий, заросший ракитами овраг.

— Послушай, чемпион, как ты мыслишь: не двинуть ли нам опять знакомым путем, а? — спросил Царев.

— Оврагом?

— Да.

— Пожалуй, самое верное...

Над головой с негромким, едва уловимым посвистом прошла стайка пуль, всколыхнув недвижимый горячий воздух, и через секунду издали, со стороны высоты, донесся торопливый говор пулемета. Царев присел, Саввушкин отпрянул к стенке. Вторая строчка прошла по брустверу. На самом гребне словно вдруг закипела, забулькала глина; пуля срикошетила, ударилась в стенку и застыла в ней темным глазком.

Разведчики не стали пережидать обстрела, пригнулись и побежали.

Командир роты, которому еще днем сообщили о разведчиках и их задании, провел Царева и Саввушкина на фланг. Траншея обрывалась у самого склона оврага. Отсюда и предстояло разведчикам с наступлением темноты выйти «на дело». Ротный начал объяснять обстановку, и Царев, слушая его, убеждался, что далеко не все было так, как показалось ему с первого взгляда: многое изменилось — появились новые доты, пулеметные точки, а главное, немцы стали проявлять активность, особенно в эти последние дни вели себя «нагло», как выразился командир роты. На ночь они выдвигали почти к самым проволочным заграждениям снайперов. В прошлую ночь четверых в роте убили. И вообще у противника наблюдается оживление, вроде бы гуще стало их, фашистов. По мнению ротного, все это не случайно: гитлеровцы явно готовятся к наступлению и начнут его в самое ближайшее время, может быть даже завтра.

— В овраг тоже снайперов выставляют, — продолжал он. — Вы у тех кустов, сразу за колючей проволокой, и вчера, и позавчера сидел один черт. Должно быть, и сегодня придет. Вам надо успеть до его прихода добраться туда и устроить засаду. Выходите сразу, как только начнет смеркаться. Немцы в это время ужинают, и вы успеете проползти. Иначе ничего не выйдет. Теперь условимся о сигналах: как закончите дело, дайте красную ракету. По красной ракете будем прикрывать ваш отход огнем. Ясно?

— Ясно, — ответил Царев.

Командир роты ушел, а разведчики долго еще вглядывались в те кусты на склоне оврага, куда должен, по словам ротного, прийти немецкий снайпер. Рядом с Царевым и Саввушкиным стоял минер Павлинов и жевал сухарь.

Царев покосился на него и недоверчиво спросил:

— Давно в минерах?

- Давненько.
- Прыгающие сымал?
- Приходилось и прыгающие...

Над немецкими окопами догорал закат. По склону ползли оранжевые тени. Ползли, угасали. Проволочные заграждения таяли; стушевывались, словно погружались в сиреневую дымку. Овраг потемнел, взбух, как река в половодье, и вот уже сумеречный туман поплыл через край по ложине. А гребень высоты еще пепельно-белый, но и он уже начинает синеть, сливаться с небом. Макушки берез, на которых только что лежал отсвет заката, обволакиваются густой пеленой ночи.

По низу, по дну траншеи, подул ветерок. Прохладой обдало ноги. Холод проник под гимнастерку и забежал по спине сотнями мурашей. Царев передернул плечами.

- Морозит? — заметил минер.
- Холодновато вроде...
- Да, жить — оно каждому хочется...

Подошел высокий пехотинец в обмотках. Попросил закурить. Спросил:

- Туда?..
- Туда.

Царева в роте считали бесстрашным солдатом, и он всячески старался поддерживать это лестное мнение о себе. Но нелегко давалось ему бесстрашие. Уже в ту минуту, как получал задание, он начинал волноваться, и волнение нарастало по мере того, как он приближался к передовой, выползал на ничейную зону, подбирался к той черте, за которой уже все чужое — и кусты, и дороги, и тропы; где — ни закурить, ни сморкнуться, ни выругаться с досады или злости, когда что не так; где — каждый шорох таит в себе смертельную опасность. Может быть, потому-то и действовал он осмотрительно, расчетливо, потому-то и сопутствовала ему удача. Но сам Царев все свои удачи приписывал другому — суеверной примете. Издавна тюменские лесники, уходя на медведя, оставляли дома завязанную узлом рубаху. Эту извечную дедовскую примету перенял Царев от отца и фанатично верил в нее. Каждый раз, отправляясь на разведку, он завязывал узлом старую нательную рубаху и прятал ее в вещевой мешок. Но сегодня рубахи не оказалось под руками, старший сержант Загрудный собрал все грязное белье во взводе и отдал в стирку, и Царев впервые пошел на задание, не оставив в роте «доброй приметы». Правда,



дома, в Тюмени, лежит в сундуке рубаха с узлом — он обязательно вернется с войны домой! — но все же суеверный страх какой-то особой, тяжелой тоской лег на сердце. Предчувствие неминуемой беды тяготило Царева и когда он шел с Саввушкиным по дороге и восхищался силищей, которую видел вокруг, и когда рассматривал вражеские окопы из хода сообщения, и особенно теперь, когда с минуты на минуту предстояло покинуть траншею. Минер казался Цареву подозрительно молодым и неопытным — потому так недоверчиво и расспрашивал его; раздражал сегодня и Саввушкин своей беспечностью — он где-то раздобыл семечки и лузгает их, как девка на завалинке.

— Брось! — резко сказал Царев.

— Что, уже выходим?

— Да, выходим. Выверни карманы!

Только после того, как Царев убедился, что ни в руках, ни в карманах у Саввушкина не осталось ни одного семечка, дал команду выходить. Было уже темно. Царев чувствовал, что запаздывает, и это тоже раздражало его. Он шел за Павлиновым шаг в шаг и зорко следил за ним, когда тот обезвреживал мины. Идти было трудно по скользкой и волглой траве оврага. На выходе из ракутника остановились. Где-то в трех — пяти шагах находились проволочные заграждения. Колючая проволока обвешана жестянками — это Царев видел еще днем: загремит, и все пропало. Немцы всполошатся, пустят осветительные ракеты, начнут прощупывать овраг прожектором... Царев не знал, что в эту ночь немцы сами нуждались в кромешной тьме. Они готовились к наступлению и выслали саперов расчистить свои минные поля перед проволочными заграждениями. Как раз в ту минуту, когда Царев с Павлиновым и Саввушкиным остановились в трех шагах от витков колючей проволоки, по ту сторону витков, на поляне, приступали к работе немецкие минеры. Шагов их не было слышно. Поверху, по макушкам ракут, скользил ветерок и шелестел листьями, заглушая все ночные шорохи.

Надо было, как советовал ротный, успеть к тем кустам на склоне, куда выходил на ночь немецкий снайпер. Царев торопился и делал ошибку за ошибкой. Можно было проползти руслом ручья под проволочными заграждениями, а он стал искать когда-то, месяц назад, им же самим сделанный подкоп. Ползал вдоль витков и привлекал шумом немецких минеров. Они прекратили работу и молча, не обнаруживая себя, следили за действиями Царева и Саввушкина. Подкоп Царев не нашел, только потерял время, и спустя полчаса снова

вернулся к ручью. Он понимал, что ползти к кустам уже бессмысленно, но все еще надеялся — не там, так в другом месте удастся подкараулить и схватить «языка». Еще не было случая, чтобы Царев не выполнил задания. О суеверной примете забыл. Просто страх перед неизвестностью и торопил, и сковывал его движения.

Русло пришлось углублять и расширять. Он вгонял лопату в податливое, песчаное дно ручья, почти не соблюдая осторожности. Саввушкин, правда, уловил странные шорохи в ракитнике, как раз в том месте, где ручей выходил из-под витков колючей проволоки, но, привыкший всегда полагаться на Царева, не придавал этому никакого значения. Когда дно было расчищено, первым полез под заграждения. За ним двинулся Царев. Павлинов остался поджидать их на своей стороне.

Едва Саввушкин прополз под витками и приподнялся, чтобы осмотреться, кто-то сильно ударил его по голове. Все произошло быстро, в одну секунду. В темноте ничего не было видно. Царев только услышал тупой удар, стон падающего человека, грубые, чавкающие шаги. Но и этого было достаточно, чтобы понять, что произошло. Холодом обдало тело — все, ловушка! На локтях рванулся вперед, чтобы заслонить собой упавшего Саввушкина, но только успел поймать его за ногу. Сапог соскользнул и остался в руках Царева. Обожгла новая догадка — немцы потащили Саввушкина к себе!.. Не успел Царев решить, что делать, перед глазами вспыхнуло и закипело белое пламя автомата. Пули взвизгнули в железных витках колючей проволоки. Царев ткнулся лицом в осоку и замер. Суеверный страх, тяготивший его весь этот вечер, — не оставил «доброй приметы!» — теперь разом охватил и чувства, и мысли, и Царев, поддавшись этому страху, ждал с закрытыми глазами своей участи. Но это длилось недолго. Из-за спины, с той стороны заграждений, ударил из автомата Павлинов, и сразу ночь словно раскололась от огня, и на какое-то мгновение Царев отчетливо увидел угловатые фигуры немецких солдат. Они волочили по дну оврага под руки обмякшее тело Саввушкина.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Когда Володин подходил к штабу, было уже совсем темно.

На площади перед разбитой двухэтажной школой в три ряда стояли автомашины с орудиями. Тут же, попыхивая сигарками,

толпились артиллеристы. Переговаривались, смеялись, словно приехали не на фронт, а собрались на вечеринку; где-то в голове колонны весело заливалась походная гармонь, зазывая плясунов. Володин сразу узнал колонну, которая так стремительно промчалась по развилке. Пригибаясь под стволами орудий, он пробирался мимо машин и бойцов, прислушивался к разговорам. На развилку — теперь уже твердо! — он решил больше не ходить, и от сознания ли, что уже ни за что на свете не нарушит клятву, или от оживления, царившего вокруг, настроение мало-помалу поднималось. Он думал о том, что немцы, наверное, действительно на этом участке фронта готовятся к серьезным боевым действиям, иначе для чего наше командование усиливает оборону. Днем командир роты капитан Пашенцев что-то говорил об этом. Володин силился вспомнить, что говорил капитан, но так и не мог. Одно теперь для него было несомненно ясно — кончились наконец скучные дни, не сегодня-завтра грянут бои, и уж кто-кто, а он, Володин, найдет себе место в этих боях. Надвигавшиеся события представлялись ему грандиозными и решающими. Взволнованный этим новым ощущением силы в себе, он вошел в штабную избу, к связистам. Ему нужно было узнать, как идут дела у разведчиков.

Боец, дежуривший у телефона, не дожидаясь вопроса, сказал, что разведчики вместе с минером Павлиновым (даже запомнил фамилию!) вышли на дело еще полчаса назад, как только начало смеркаться, и сейчас, наверное, уже миновали проволочные заграждения и подбираются к вражеским траншеям. И добавил, что все идет как надо, немцы молчат и ничего пока не подозревают, так что тревожиться не следует, да и не такие Царев и Саввушкин, чтобы их могли обнаружить. Володин кивнул в знак того, что все понял, и присел рядом на запасную телефонную коробку. Отсюда, из прихожей, сквозь настежь распахнутые двери было хорошо видно, что делалось в комнате. Прибывшие артиллерийские офицеры совместно с командованием батальона уточняли, где займут огневые позиции батареи. Больше всех говорил толстый и расторопный командир батальона майор Грива, кашлял и отмахивался от табачного дыма; словно откуда-то сверху, заглушая и подавляя все, басом гремел подполковник. В согнутой ладони подполковника чадил трубка. Когда он слушал высказывания младших офицеров, на лице его, восковом от желтого света лампы, вспыхивала пренебрежительная усмешка. Володин уже кое-что знал о нем, это — командир истребительно-противотанкового полка Табола. Несколько дней назад он приезжал в

Соломки и ходил на огневые, приготовленные пехотинцами; огневые забраковал и сказал, что все придется делать заново. Володину подполковник не понравился с первого взгляда, и теперь, рассматривая его ближе и прислушиваясь к голосу, все больше убеждался в верности своего первого впечатления — жестокий и, как видно, не очень умный. Правда, тогда же прошла молва, что артиллерийский полк, который придет в Соломки, героически сражался на Волге и что командир его получил орден Красного Знамени в боях под Калачом. Но — ни ордена, ни колодочек на гимнастерке подполковника; молва для Володина по-прежнему оставалась только молвой, выдумкой солдат, которым всегда хочется иметь командиром героя.

Деревня Соломки считалась одним из центральных узлов второй оборонительной линии, протянувшейся вдоль белгородских высот. Система оборонительных сооружений на этом участке разрабатывалась и создавалась при участии армейских инженеров. Казалось, все было продумано и предусмотрено, и вот Табола решительно ломал этот план и выдвигал свой, рассчитанный в основном на фланговый огонь батарей. Нынешняя война — война машин, поэтому прежде всего нужно готовиться к отражению массированных танковых атак. У немцев появились новые танки и самоходные пушки с утолщенной броней — «тигры» и «фердинанды»; наибольшая поражаемость их может быть достигнута, несомненно, при боковой стрельбе. Доводы подполковника звучали вполне убедительно, майор Грива соглашался с ними; против одного только возражал он — для чего противотанковые орудия ставить на закрытые позиции? А Табола, между прочим, намеревался несколько батарей из своего полка отвести на восточную окраину деревни, к развилке. Володин всей душой поддерживал майора Гриву и страшно досадовал, что тот горячился и не мог доказать свою правоту. Находили минуты, когда лейтенант готов был встать и пойти туда, к столу; он бил себя кулаком по колену, не замечая удивленного взгляда связиста.

Постепенно в спор втянулись и командиры рот.

— Для укрепления восточной, собственно, тыловой стороны деревни, — высказал свое мнение капитан Пашенцев, все это время стоявший в тени и не участвовавший в разговоре, — следует, конечно, отвести туда несколько батарей. Это верно. Но поставить их нужно так, чтобы орудия могли прямой наводкой простреливать не только шоссе, но и подступы к нему. Вести точный огонь с закрытых позиций здесь очень трудно — магнитная аномалия, смещение полюсов. Стрелка

буссоли сильно отклоняется и дает разные показания. Наши минометчики постоянно жалуются на это.

Слова капитана — хотя Пашенцев не только не возражал, а, напротив, как бы развивал дальше предложение командира полка Табола — привели Володина в восторг; в порыве нахлынувших чувств он моментально сделал фигу и, не задумываясь, показал бы ее подполковнику, прошептав: «Что, съел!» (оттуда, из освещенной комнаты, Табола все равно ничего бы не увидел) — но голос связиста, раздавшийся почти над самым ухом, заставил лейтенанта торопливо спрятать руку в карман. Боец сообщил, что на передовой тихо, а это значит — Царев и Саввушкин успешно ведут разведку. Коротко, односложно ответив на радостное восклицание связиста, Володин снова принялся наблюдать за тем, что делалось в комнате. Он смотрел на Пашенцева, как всегда, восторженно, стараясь не пропустить ни одного слова, ни одного жеста: капитан напоминал ему князя Андрея: и по складу фигуры, и по выражению глаз, и по опрятности, но главное — по чистоте и благородству души, именно тому княжескому благородству в лучшем понимании, какое смог придать своему герою Лев Николаевич Толстой. Это сравнение пришло Володину однажды, когда батальон, отступая, форсировал небольшую речку. Переправу обстреливала тяжелая вражеская артиллерия. Солдаты под огнем грузились на понтонные плоты и шестами отталкивались от берега. Пашенцев ходил по песчаному откосу — ни суеты, ни крика; когда снаряды разрывались совсем близко, он и тогда оставался спокойным и уверенным, только бледность покрывала его лицо. Снизу, с плота, Володин отчетливо видел его — так под ядрами ходил князь Андрей перед полком на Бородинском поле... Может, в характере капитана и было что-то от Андрея Болконского, а может, это только пылкое воображение юноши, надевшего серую шинель, однако Володин крепко верил в такое совпадение когда-то найденного им из книги идеала с встретившимся в жизни человеком, и эта вера помогала ему видеть хорошее и светлое в своем ротном командире.

— Мне кажется, — продолжал Пашенцев, — сегодня мы либо ни к чему не придем, либо примем неправильное решение. Время еще терпит, завтра утром можно провести повторную рекогносцировку, и там, на месте, само дело покажет...

Володин слушал внимательно, подавшись вперед, и когда связист, то и дело продувавший телефонную трубку, неожиданно тревожным, упавшим голосом сказал, что Царев и Саввушкин обнаружены, что немцы всполошились и обстрелива-

ют овраг, не сразу сообразил, что произошло, и только когда связист, видя его растерянность, повторил сказанное, лейтенант схватил трубку. На торопливые вопросы отвечали с переднего края так же торопливо и сбивчиво: видно, и там еще толком никто ничего не знал — идет пальба, а взяли «языка» или нет, неизвестно.

— Ротного мне! Ротного! — требовал Володин.

Но и ротный, оказалось, был в полном неведении; все, что он мог сообщить — выслал полувзвод автоматчиков к проводочным заграждениям для прикрытия.

Согласившись, очевидно, с капитаном Пашенцевым отложить окончательное решение до завтра, офицеры выходили из комнаты. Володин, уже думая о разведчиках, оглянулся на шум: Табола на ходу набивал не успевшую остыть трубку, в полумраке прихожей трудно было разглядеть его лицо, но лейтенант все же заметил, как губы подполковника вздрагивали в пренебрежительной усмешке. Проводив неприязненным взглядом прославленного, как говорили вокруг, командира артиллерийского полка, Володин долго смотрел в дверной просвет на синее ночное небо; он встрепнулся, когда в плотно прижатой к уху телефонной трубке снова раздался скрипучий голос, но это по линии шла очередная проверка. Володин встал и, колеблясь — сейчас доложить майору о разведчиках или после того, как все будет ясно? — пошел в комнату. Сомнения разом исчезли, как только встретился с вопросительным взглядом командира батальона; краснея и опуская глаза, словно все произошло из-за его оплошности, негромко произнес:

— Надо бы мне самому...

— Обнаружили?

— Да.

Майор Грива не стал расспрашивать, — казалось, известие ничуть не встревожило его; только по тому, как нервно постукивали пальцы по столу, можно было понять, о чем он сейчас думал. Молчал и Володин. На него тишина действовала особенно гнетуще. Все, что пережил он сегодня, представлялось ему мелким и никчемным: и похмельная горечь, и встреча с Людмилой и Шишаковым, и прибытие в Соломки артиллеристов, и даже разговор между подполковником и капитаном Пашенцевым, за которым он только что следил с нарастающим интересом, — все это было ненужным, не тем. По пустякам волновался, а главное прошло мимо. Робко, очень робко просил он майора Гриву отправить его вместе с разведчиками, за «языком». Разве так просят! Но самое обидное, что удручающе

действовало на него теперь и чему он едва ли мог найти оправдание, — за весь день ни разу не вспомнил о разведчиках. Больше чем когда-либо он был недоволен собой, и это чувство, с каждой минутой нараставшее, становилось тягостным. Он ходил к связисту и возвращался ни с чем, будто на переднем крае кто-то упорно не хотел ничего рассказывать. Боец сопел и чесался, и Володин не мог равнодушно смотреть на него; неприятен был даже скрип собственных сапог, который он в обычное время не замечал.

Наконец сообщили, что «языка» взять не удалось. Саввушкин погиб, а Царев с минером Павлиновым вернулись на командный пункт. Володин доложил об этом майору.

На площади, куда вышел Володин из штабной избы, уже не было ни машин, ни орудий; ночь окутала мглой Соломки, и в этой ночи — или близкие шорохи, или отдаленное потрескивание — слышались невнятные звуки, невольно настораживавшие внимание и придававшие всему, что виднелось вокруг, таинственность и загадочность. Огромными черными глыбами возвышались впереди, во тьме, кирпичные стены разрушенной школы, площадь казалась вдвое больше и просторнее, чем днем, а низкий, заросший крапивой плетень — настолько далеким, будто находился где-то у самого горизонта. Володин постоял секунду, прислушиваясь, как бы желая понять ночные шорохи, и медленно побрел по дороге. Было прохладно, но он, словно от духоты, расстегнул воротник, снял ремень и повесил его через плечо; он чувствовал почти физическую усталость от тех сегодняшних переживаний, которые поочередно то радовали, то огорчали его; сообщение о гибели Саввушкина было вершиной его дневных волнений, и теперь, будто вдруг потеряв цель и смысл жизни, он шел, бездумно вглядываясь в черные выступавшие из тьмы предметы. Он возвращался в свою избу. По крайней мере, с таким намерением вышел он из штаба, по тропинке, сворачивавшая к стадиону, осталась незамеченной позади, и дорога уводила его вдаль, за деревню, к развилке.

Неожиданно из темноты выросла перед ним фигура солдата.

— Стой, кто идет? — спросила фигура голосом сержанта Шишакова.

Только теперь, услышав явно знакомый голос, Володин спохватился, что пришел на развилку. Ему вдруг стало страшно неловко, что он пришел сюда: и потому, что нарушил данный себе обет, и больше потому, что этот второй приход мог

обнажить перед Шишаковым самые сокровенные его, Володина, чувства. Старик по-своему поймет, зачем пришел сюда лейтенант, и ядовито усмехнется в усы. Володин представил, как усмехнется старик (представить было нетрудно: кажется, до мельчайших морщинок знал угрюмое лицо Шишакова) и как это будет выглядеть кощунственно. Чувства, которые Володин питал к Людмиле, были чисты, и он не хотел, чтобы чья-либо усмешка оскверняла их. Сейчас он с особенной остротой ощутил это. Не желая разговаривать с Шишаковым, повернулся и пошел прочь.

Но старому сержанту, очевидно, показалось подозрительным поведение человека, который не отозвался на оклик и, более того, молча поспешил назад. Сержант решил проявить бдительность и снова, теперь громче и строже, закричал:

— Стой!

Щелкнул затвором.

— Стой, стрелять буду!

Выстрелил сначала вверх; потом полоснул понизу, по-над дорогой; потом скомандовал подбежавшим на выстрелы перепуганным регулировщицам: «В ружье!» — и сам первым кинулся догонять «подозрительного человека». Но пробежал метров двадцать и остановился — вокруг все застлано густой тьмой, и на дороге никого не видно. Прислушался: и топота шагов не слышать. Старик даже усомнился: может, все это только померещилось? Вернулся, но все же для предосторожности закрыл шлагбаум. Вскоре он уже опять дремал, прислонившись к столбу, а солдаты из роты Пашенцева, всполошенные стрельбой, прочесывали стадион, и от штаба мчались к развилке мотоциклисты, посланные майором Гривой. Майор как раз спускался в блиндаж (он мог спокойно чувствовать себя только под пятью накатами!), когда вспыхнула стрельба.

В смешном, неловком и даже неожиданно трагическом положении оказался Володин. Когда грянул первый выстрел, он ускорил шаг и почти побежал, движимый все еще тем же желанием — поскорее уйти с развилки; когда прогремел второй и он отчетливо услышал, как цокнула пуля о дорожную гальку, пригнулся и побежал еще быстрее. Теперь уже страх быть убитым подгонял его. Остановиться и объявить, что, мол, это я, лейтенант Володин! — было теперь позорно и совершенно невозможно. И не только потому, что придется объясняться со старым ворчуном и потом этот ворчун ославит Володина на все Соломки, — вместе с Шишаковым бросились в погоню и девушки-регулировщицы, и конечно же с ними и Людмила,

и предстать перед ней в таком виде — навек опозориться! Володин бежал, как затравленный заяц, торопясь уйти от выстрелов, от шума; когда из-за поворота выскочили мотоциклисты — кубарем скатился в придорожную сточную канаву, чтобы не попасть в полосу света от фар. Он хотел одного: незамеченным добраться к себе, и тогда никто не узнает о его ночной истории, и сам он навсегда забудет о ней. Он выбрался на тропинку, на ту самую, по которой вечером шел на развилку довольный, счастливый от полноты радостных надежд.

— Стой, кто идет?

Как и в прошлый раз, из темноты выдвинулась фигура солдата, только говорила эта фигура сейчас голосом старшего сержанта Загрудного.

— Это я, Володин.

— Товарищ лейтенант? Стреляли тут где-то, в этой стороне. Узнать пошли...

— Дальше стреляли, у развилки.

Едва Володин переступил порог своей избы, торопливо разделся и лег, желая поскорее забыться сном. Как ни сумбурны были его мысли, он понимал ничтожность всех своих переживаний и опять, как и в штабе, когда узнал о гибели Саввушкина, с досадой подумал, что жизнь проходит мимо главного, стороной, и что это, пожалуй, самое позорное, что может быть на свете. Как-то фельдшер Худяков сказал Володину: «Липовый ты пока фронтовик, настоящего пороху еще не нюхал». Тогда Володин обиделся на эти слова: как же так, почти полгода на фронте и вторую звездочку на погон получил здесь, и все еще «липовый»? Но, в сущности, фельдшер был прав. Володин пришел в батальон как раз накануне вывода его из боя. Несколько дней отступательных боев, потом бездействие на рубеже белгородских высот, потом отвод во второй эшелон, в Соломки. Вот, собственно, и все, чем мог похвастаться Володин. Не было главного у него. «Липовый» пока еще фронтовик.

ГЛАВА ПЯТАЯ

На рассвете тревожная весть облетела штабы дивизий Воронежского фронта: сегодня утром немцы начнут наступление! В направлениях Герцовки, Новой Горянки, Королевского леса, Босяцкого и хутора Ближне-Ивановского они расчистили минные поля и сняли проволочные заграждения. Наши войска по

приказу командующего фронтом были приведены в боевую готовность. Во вторых и третьих эшелонах обороны пехоту еще затемно вывели в траншеи. На батареях только ждали сигнала открыть огонь.

Вскоре стало известно еще об одном событии. На рассвете этого же дня на нашу сторону перебежал ефрейтор второй роты 248-го разведотряда 168-го пехотного полка Густав Бренер. Он не знал точно, на какой день и час немецкое командование назначило наступление, но предполагал, что удар будет нанесен с четвертого на пятое июля. Боясь, что ему не поверят и заподозрят в неискренности, ефрейтор вспоминал все, что только можно было припомнить, и рассказывал с большими подробностями: «Свое заключение я сделал из следующих фактов. Третьего июля во второй половине дня всем солдатам выдали по шестьдесят патронов, а пулеметчикам — по одному ящику с тремя заряженными лентами. Ночью саперы соседней с нами танковой дивизии СС снимали мины и убирали колючую проволоку перед нашим передним краем. У нас из каждого отделения были выделены специальные люди, которые готовили лестницы, чтобы легче и быстрее выбираться из окопов. Кроме того, офицеры нам говорили, что, когда пойдем через населенные пункты, ничего съестного у населения не брать, так как русские отравляют продукты...»

На повторном допросе в штабе фронта, куда на самолете доставили перебежчика, Густав Бренер подтвердил, что наступление, по его мнению, начнется с четвертого на пятое, то есть завтра. Показания Бренера совпадали с данными нашей разведки. С приближением рассвета росло и напряжение в частях.

Крупные наступления немцы всегда начинали под утро. Так было на Дону, на Днепре. Так было под Харьковом, когда после катастрофы на Волге ударные группы фельдмаршала фон Манштейна старались восстановить положение на Восточном фронте. Многие полагали, и не без основания, что так будет и здесь, потому что белгородской группировкой фашистских войск командовал тот же фельдмаршал фон Манштейн.

В это утро был по тревоге поднят и батальон, оборонявший Соломки.

Володин проснулся сразу. В ту минуту, когда обувался и когда затем, на ходу затягивая ремень, выбегал из избы, все его мысли были сосредоточены на одном: быстрее поднять

людей и вывести их на позиции; лишь после того, как солдаты заняли отведенное им в обороне роты место и он доложил капитану Пашенцеву, что взвод к бою готов, нашлось время поразмыслить и оценить обстановку. Он не испытывал того привычного возбуждения, какое бывает перед боем, и, доверяя своему спокойствию, приходил к выводу, что сегодня обычная учебная тревога, какие нередко, особенно в последнее время, проводились в Соломках; и оттого, что так думал, искренне досадовал, что был прерван зоревой сон. Чтобы развеять дремоту, медленно пошел по траншее. Бойцы курили, разговаривали, и Володин сначала лишь удивился, заметив их удрученные лица; но когда, переходя от группы к группе, услышал, о чем говорили бойцы, — о гибели Саввушкина! — испытал неприятное чувство вины: до сих пор он еще не видел вернувшегося ночью с разведки Царева! Не знал никаких подробностей и, более того, ничего не сделал, чтобы узнать! Невольно ускорил шаг. Настроение его было испорчено.

Царев стоял в окружении солдат и неторопливо и негромко рассказывал, окутывая лицо сизым махорочным дымом. Когда дым отплывал, видны были исцарапанные ветками щеки и красные от бессонной ночи глаза. Подошедшего лейтенанта Володина никто из солдат не заметил.

Не желая перебивать Царева, Володин отвернулся к брустверу и стал вглядываться в еще синюю на западе черту леса.

— Так думаю, мы его пристрелили, — говорил Царев. — Сначала-то я видел, как его двое немцев волокли, а после гляжу — упали. И крик такой истошный. Немец кричал, гад. А Саввушкину где уж, и так-то без чувства был. Крепко его по голове хватили...

— А сапог-то каким образом?.. — спросил кто-то.

— А таким, видишь, принес... Может, если бы я покрепче за ногу ухватил, не дал бы унести, а то — вот, сапог один остался. — Царев вертел его в руках, разглядывая, словно это была какая-то уникальная вещь. — И набойки, вишь, новые набил, и подковки, а носить не пришлось...

Сапог пошел по рукам, и все смотрели и щупали почему-то набойки и подковки на каблуке и носке, уже успевшие без хозяина за одну ночь покрыться желтыми пятнами ржавчины. В сапоге была еще не высохшая портянка. Кто-то вытащил ее, и вместе с нею из сапога выпало несколько долек семечковой шелухи. Они, кружась, медленно упали к ногам солдата. Может быть, и сам сапог не произвел такого впечатления, как эти маленькие, кружившиеся белые дольки подсолнуха, сразу на-

помнившие о человеке, которого именно за семечки и ругали все в роте.

Ничего не знал Володин о сапоге и потому слушал с интересом. Он повернулся, чтобы увидеть и, может быть, даже подержать в руках этот сапог, и встретился взглядом с Царевым. Царев выпрямился, готовясь к рапорту.

— Давно вернулись? — спросил Володин.

— Под утро, товарищ лейтенант. Вас не стали будить, доложил все старшему сержанту.

— Загрудному?

— Да.

— Хорошо. Идите отдыхать, Царев. Вам нужно отдохнуть, идите.

Володин снова отошел к брустверу, раздумывая: почему старший сержант, приняв от Царева рапорт, ничего не сказал об этом? Как раз в это время подошел Загрудный. Он не спеша убрал с бруствера несколько крупных комочков глины, мешавших просматривать даль, поправил маскировку из сухих веток и только после этого спросил у лейтенанта, как он думает, будут ли немцы сегодня наступать или нет? По мнению старшего сержанта — должны, потому что лето в самом разгаре, а «они», как известно, летние вояки. Старший сержант засмеялся, довольный шуткой, но Володину не понравился этот смех. Не понравилась и шутка, имевшая тогда хождение среди солдат и давно падоевшая всем, — немцы и зимой воюют: страшно подумать, как под Харьковом напирали, да и под Белгородом! — но не высказал вслух своих возражений; он ждал, заговорит ли Загрудный о рапорте Царева. Потом не выдержал и сам спросил:

— Почему меня не разбудили?

— Когда?

— Когда вернулся Царев.

— А-а, так вы только что легли. Я хотел, — губы старшего сержанта еще продолжали улыбаться, но глаза уже настороженно сузились. — Я, товарищ лейтенант, все расспросил у Царева подробно и тут же доложил капитану и позвонил в штаб.

— Почему не разбудили? — все так же не повышая голоса, но с большим раздражением и неприязнью в тоне повторил Володин.

— Вы только что...

— Значит, за моей спиной все делаете? Командир взвода у вас, значит, барин, он спит, видите ли. Так, что ли?

— Хотел, как лучше.

— Вы, Загрудный, вечно в опекуны лезете!

Володин почувствовал — сказано все, если он останется хоть на минуту, наговорит дерзостей. Быстрым движением руки поправил кобуру, хотя в этом не было никакой нужды, окинул недружелюбным взглядом Загрудного и пошел по траншее на правый фланг к своему наблюдательному окопу. Сначала он был доволен, что так резко отчитал старшего сержанта, но затем, когда немного успокоился, начал сомневаться в правильности своего поступка, а когда пришел на фланг, уже был убежден, что зря обидел человека. Он сидел на дне окопа, на специально оставленной при копке ступеньке, и растирал в пальцах подбираемые у ног нежесткие земляные крошки; уши его горели, как у школьника, только что получившего двойку. Напротив, прислонившись спиной к холодной стенке, дремал связист. Связист, очевидно, заснул сразу же после ухода лейтенанта и теперь продолжал спокойно посапывать; телефонная трубка была прижата к его щеке и держалась на замусленной тесемке, накинутой на голову под пилотку. Володин посмотрел на связиста, и тот, будто почувствовал на себе взгляд командира, встрепенулся и принялся продувать трубку и кричать: «Алло, алло, «Игарка»! Проверка...» Затем как ни в чем не бывало полез за кисетом; сворачивал сигарку неторопливо и после того, как прикурил, кося глаза, произнес:

— Не начинают что-то.

— Молчат,— подтвердил Володин.— И навряд ли сегодня начнут.

— Вот и я так думаю. Палатку-то, что у дороги, и нынче не убрали. Стоит.

— Стоит? — переспросил Володин и потянулся за биноклем.

— Это верный признак... Да ее, товарищ лейтенант, и без бинокля хорошо видно.

Над полями и перелесками вставало солнце, покрывая серебристо-белым налетом верхушки деревьев, гребни холмов, соломенные крыши дальних изб; и только дорога, стрелой уходившая к лесу, казалось, не хотела изменять своего серого цвета. К развилке приближалась небольшая колонна крытых брезентами грузовиков, а на дороге, как обычно, стояла девушка-регулирующая, готовая встретить автомашины. Володин ясно увидел ее в бинокль — не Людмила; он перевел взгляд на палатку: никого и дверной полог опущен. Даже Шишакова, который всегда по утрам сидел на опрокинутом ведре у входа,

не было. Володин повел биноклем влево: почти у самого плетня, где начинались огороды, вытянувшись в цепочку, работали девушки. Они копали то ли траншею, то ли щели. Но щели, помнится, давно были прорыты возле палатки, лейтенант сам видел их десятки раз. Для чего же еще копать? Наверное, этому старому ворчуну делать нечего, вот и выдумывает... Володин стал отыскивать среди работающих Людмилу и, найдя ее, уже не сводил с нее взгляда. Людмила копала проворно и останавливалась только затем, чтобы поправить спадавшие на лоб короткие волосы. Ровным красным валом вырастал у ног ее бруствер; вот она уже по пояс врылась в землю; теперь, когда нагибалась, только лопата мелькала в воздухе, поблескивая отшлифованными о глину боками. Несколько раз к ней подходил Шишаков и, приседая на корточки, что-то объяснял; тогда Володин смотрел на него и старался определить, справедливо ли старый сержант упрекает Людмилу и упрекает ли вообще или, напротив, хвалит за расторопность — ведь она работает быстро; старался догадаться, что отвечает Людмила; в голове рождались предполагаемые вопросы и ответы; он представлял себе их лица: возмущенное — Шишакова, смеющееся — Людмилы; теперь он смотрел поверх бинокля и больше домысливал и воображал, чем видел на самом деле, и оттого, что ничто не связывало его воображение и ничто не мешало ему смотреть — он оставался верен слову и в то же время мог дать полную свободу своим чувствам, — к нему возвращалось то душевное равновесие и спокойствие, с каким он проснулся в это утро и пришел сюда, в траншею.

Мало-помалу опять начала одолевать сонливость. Все чаще поглядывал он на солнце, поднимавшееся над горизонтом, и, наконец, когда жара стала ощутимой, решил спуститься в блиндаж.

В блиндаже было прохладно и тихо. Володин прилег на нары, не раздеваясь, только чуть ослабив поясной ремень и сдвинув кобуру с пистолетом на живот, и закрыл глаза. Но поспать не удалось — вызвали к телефону. Капитан Пашенцев передал, что с минуты на минуту в Соломки прибудет командующий Воронежским фронтом генерал Ватутин и будет осматривать позиции. Очевидно, зайдет и в расположение роты. Надо приготовиться к встрече.

Сам командующий фронтом приезжает — шутка ли! Такое случается не часто, может, раз в жизни. Страшновато, конечно, вот так вдруг предстать перед командующим и отрапортовать,

но... Надо немедленно подготовить взвод к смотру. Чтобы все на бойцах блестело! Чтобы и подворотнички у каждого! Чтобы... Чтобы... словом, все как перед парадом!

Генерал армии Ватутин решил лично осмотреть позиции, занятые прибывшими артиллерийскими частями. Он выехал на рассвете четвертого июля из деревни Яковлево в сопровождении члена Военного совета фронта и командующего Шестой гвардейской армией, побывал на переднем крае и к двенадцати часам дня прибыл в Соломки.

Володин, занятый подготовкой взвода к встрече, не видел, как промелькнули мимо стадиона легковые автомашины, как затем командующий фронтом с группой генералов и офицеров поднялся по склону на командный пункт батальона; он заметил их только тогда, когда они уже подходили к расположению роты. Разглядывая в бинокль генералов, Володин старался угадать, который из них Ватутин. Он ни разу не видел командующего, только слышал о нем, и то, может быть, из десятых уст; знал лишь, что Ватутин — невысокий, плечистый и добрый. Но этого было так мало, да к тому же из трех генералов двое — одинаково невысокие и плечистые, что Володин совершенно терялся в догадках. Среди офицеров он без труда узнал своего командира батальона — толстого и проворного майора Гриву, узнал капитана Пашенцева и подполковника Табола. Они шли позади всех и о чем-то оживленно говорили. Табола то и дело останавливался и раскуривал угасавшую трубку.

Пройдя на фланг роты, генералы и офицеры остановились. Они стояли так близко, что Володин слышал их голоса, но не мог разобрать ни одного слова. Он волновался: боялся и того, что командующий не подойдет к позициям взвода и все старания были напрасны, и того, что подойдет и нужно рапортовать; оба опасения равно страшили и радовали его, и он с таким вниманием следил за каждым движением Ватутина (наконец узнал его по звездочкам на генеральских погонах — четыре в ряд) и так напряженно ждал, когда командующий шагнет в его сторону, будто от этого шага зависела вся его дальнейшая судьба, вся его будущность. И все же прозевал этот шаг, прозевал по глупой случайности: связист, пересаживаясь поудобнее, задел носком сапога деревянную коробку телефонного аппарата и Володин обернулся на стук; а когда снова взглянул на командующего и окружавших его генералов и офицеров, они шли прямо к позициям взвода.

Володин выпрыгнул из окопа.

— Взвод, смир-рна! — крикнул он и не услышал своего голоса.

Секунду выждал, всматриваясь, как бойцы, находившиеся в траншее, выполнили его команду, и побежал навстречу приближавшимся генералам; метров двадцать не доходя до них, перешел на шаг. Шел чеканно, не сгибая ног в коленях; подошвы сухо ударялись о затвердевшую, как цемент, землю, и каждый удар упругим толчком отдавался в плечах.

До того, как остановился и, подбросив ладонь к каске, произнес первое слово, Володин ясно представлял, что нужно говорить (текст рапорта заучил), но, едва начал рапортовать, заученное вылетело из головы, он с горячностью выпаливал слова, совершенно не следя за своей речью, только когда смолк и, не шевелясь и не дыша, напряженно ждал, что скажет командующий, вдруг спохватился, что не назвал номера полка. Это смутило Володина. Но не успел он осознать, как велика его оплошность, услышал негромкое: «Вольно!» — затем увидел протянутую руку командующего, протянул свою и ощутил теплое пожатие. Ватутин чуть заметно улыбнулся, и хотя было трудно понять отчего: оттого ли, что заметил оплошность лейтенанта и знал причину этой оплошности, или оттого, что, глядя на юного командира взвода, вспомнил свои молодые годы, когда он, выпускник полтавской пехотной школы, двадцатилетний юноша, впервые принял взвод и был, наверное, таким же вот непосредственно робким и смелым; а может быть, просто от хорошего настроения, — но Володин истолковал улыбку по-своему: все благополучно, командующему рапорт понравился. Володин даже подумал, что, пожалуй, он все же назвал номер полка и напрасно огорчился. А когда к нему подошел капитан Пашенцев и тихо сказал: «Молодец!» — уже никаких сомнений не было, что все прошло как положено, по-уставному.

Ватутин поздоровался с бойцами. Дружное солдатское «Здравия желаем!» прокатилось по траншее и оборвалось, и лишь один запоздалый голос, все еще звонкий, но уже слабеющий, закончил: «...арищ генерал!» В наступившем молчании он прозвучал так отчетливо и так неожиданно и смешно, что лица у генералов и офицеров невольно повеселели. Только подполковник Табола, не выпускавший из ладони давно угасшую трубку, неодобрительно покачал головой. Все смотрели на «запоздавшего» солдата, и никто не заметил, как Володин из-за спины капитана Пашенцева погрозил ему кулаком.

То, что случилось, как видно, было неожиданностью и для

самого солдата. Он стоял напротив командующего, внизу, в траншее, красный до ушей, и удивленно моргал глазами; по выражению его лица, по тому, как сходила краска, оставшись только на кончике малинового, обожженного солнцем носа, было видно, что он быстро поборол растерянность. Не дожидаясь, пока командующий что-либо скажет, солдат козырнул и отчеканил:

— Рядовой Бубенцов!

— Что же это, братец, всегда так отстаешь? — спросил Ватутин.

— По росту последний во взводе!

— В хвосте, значит?

— На фланге, товарищ генерал!

Володин смотрел на широкую спину командующего, на его крутые плечи, как под линейку выровненные погонами, прислушивался к интонации его голоса — шутит или сердится? — и с беспокойством ожидал, что вот-вот Ватутин крикнет: «Где командир взвода? Что за расхлябанность!..» Но опасения лейтенанта были напрасны: настроение командующего, как в зеркале, отражалось на лице солдата, а солдат глядел весело, даже озорно, будто давно знал цену своей сообразительности и все, что только что произошло, суший пустяк, и он, Бубенцов, не растерялся бы, будь перед ним хоть сам Верховный. Отлегло у Володи, едва он взглянул на Бубенцова, а еще через минуту, когда Ватутин, обращаясь к майору Гриве и подполковнику Табола, заговорил о видневшемся невдалеке березовом колке, уже не опасения, а страстное желание услышать все и запомнить овладело лейтенантом. И рапорт, и конфуз с Бубенцовым — все это теперь было позади; на бруствере стоял командующий фронтом и словно рисовал рукой на местности картину предстоящего боя. Что-то торжественное было в этом для Володи, и он напрягал внимание и слух, надеясь увидеть и услышать нечто особенное, что должно запомниться ему на всю жизнь, но все шло обычно, командующий говорил мягко, будто советовался с равными себе, и, когда поворачивался к кому-нибудь из командиров полков — чаще всего к Табола, и это сразу же заметил Володин, — были видны совсем не строгие, прикрытые полутенью от козырька серые глаза. Может, оттого, что все было просто, ожидание необычного быстро притупилось у Володи, и он, вслушиваясь, наблюдал уже не только за командующим, но и за тем, как реагировали на его слова старшие офицеры.

Ватутин предлагал выдвинуть в березняк противотанковую

батарею. Майор Грива, с которого — может быть, от жары, может быть, от возбуждения — давно уже лил пот и который, то и дело снимая фуражку, белым носовым платком промокал лысину и вытирал шею, — этот толстый и подвижный, казавшийся теперь смешным командир стрелкового батальона по-минутно восклицал: «Совершенно верно! Совершенно верно!..» — и при каждом восклицании приподнимался на носках, словно березовый колок был совсем близко, в трех шагах, и он непременно хотел заглянуть в него. Подполковник Табола, все так же не выпуская из ладони угасшую трубку, только чуть щурил глаза, как бы примеривался к тому, что предлагал командующий; время от времени, искоса, не поворачивая головы, бросал короткие взгляды на изнемогавшего от жары майора, и тогда на лице вспыхивала хорошо знакомая Володину пренебрежительная усмешка. Но сегодня эта усмешка не возмущала Володина. Он был изумлен: то, о чем говорил командующий, — поставить орудия так, чтобы они могли вести фланговый огонь по танкам противника, — эту мысль высказывал вечером в штабе Табола! Володин посмотрел на подполковника, как на героя, совсем забыв о неприязненном чувстве, которое испытывал к нему вчера; потому-то и усмешка, и те короткие взгляды, которыми Табола одаривал сейчас майора Гриву (Грива будто не замечал этих взглядов), показались лейтенанту вполне уместными и естественными. Володин подумал, что, очевидно, не зря о подполковнике Табола ходят хорошие слухи. Наверное, он действительно отличился в боях на Волге и первым вышел с полком к Калачу, замыкая кольцо окружения. Сначала это промелькнуло как догадка, но почти тут же Володин поверил, что именно так и было, и что, конечно, полк Табола входил в состав Юго-Западного фронта, которым тогда командовал Ватутин, и что Ватутин и Табола — старые боевые друзья, и им приятно теперь снова быть вместе, и что вот почему Табола держится так свободно и легко с командующим, а командующий, обращаясь к нему, называет его по имени и отчеству — Иван Ильич.

Неожиданно внимание Володина привлек раздавшийся в траншее громкий смех. Среди бойцов взвода стоял невысокий коренастый генерал (как позднее узнал Володин, это был член Военного совета Воронежского фронта), видно, он только что сказал что-то смешное и теперь сам смеялся вместе с солдатами. Володин улыбнулся, поддавшись общему веселому настроению. То, что он увидел в траншее: и стоявший перед генералом Бубенцов со сдвинутой на затылок каской и влаж-

ными от смеха глазами, и беззвучно смеявшийся Царев, медвежьи плечи которого тряслись, как в лихорадке, и старший сержант Загрудный, заклеивавший языком сигарку и так и застывший в изумлении, и боец Чебурашкин, самый молодой во взводе, пробивавшийся сейчас из задних рядов поближе к генералу, и сам генерал, с коричневым от солнца лицом и выгоревшими, словно покрытыми дорожной пылью бровями, и то откровение на лице генерала, сразу же бросившееся в глаза Володину, — не возбудило беспокойства, а, напротив, только сильнее разожгло любопытство лейтенанта. Теперь внимание его как бы раздвоилось: хотелось слышать то, что говорил командующий, и то, что говорил генерал в траншее, видеть полковое начальство — Табола, Гриву, Пашенцева — и видеть своих бойцов; Володин старался разом охватить и то и другое и потому не мог воспринимать целостно ни разговор командующего с офицерами, ни беседу генерала с солдатами.

В траншее Бубенцов сквозь смех спрашивал генерала: — Задали, говорите, стрекача?

И генерал отвечал:

— Такого задали!..

Голос генерала заглушался новым взрывом смеха. Глядя на бойцов, смеялся и Володин, не зная начала рассказа, но услышав его конец, и совершенно неважно было сейчас, кто задал стрекача — танки ли немецкие или автоматчики, или речь шла о каком-нибудь воздушном бое — и кто, какой солдат и на каком участке фронта так отличился, что от него задали немцы стрекача, и что именно было смешного в этом рассказе, но, раз все смеялись, значит, было смешное, и это смешное невольно передавалось Володину.

На бруствере подполковник Табола басил:

— Маскировать их трудно...

— Но возможно! — утверждал командующий.

И Володин думал, что возможно, раз об этом говорит командующий, но смутно представлял себе, что маскировать — то ли противотанковые орудия, которые будут поставлены в березняк, но тогда почему подполковник Табола возражает; то ли самоходные пушки, которые нужно врыть в землю на стыках рот, то ли какие-то ловушки для немецких танков, о которых тоже упоминал командующий, то ли еще что-то, чего не слышал Володин, но что, несомненно, должно было быть и имело важное значение для обороны батальона.

— На Большом Ферганском работал, — продолжал Бубен-

цов, все так же весело и задорно глядя на генерала. — В каком году? В тридцать девятом.

Володин снова посмотрел на Бубенцова, восторгаясь тем, как запросто его боец разговаривает с генералом, а какое отношение имел генерал к Большому Ферганскому каналу, зачем приезжал туда в тридцать девятом и приезжал ли вообще и что необычное происходило тогда на стройке канала, о чем теперь непременно нужно было Бубенцову вспомнить и заговорить (наверное, все же была причина, поскольку Бубенцов вспомнил и заговорил), — все это разумелось само собой, и Володин только следил за тем, что будет дальше.

— Нельзя забывать волжские бои, Иван Ильич, — говорил между тем командующий фронтом; он стоял лицом к солнцу и не отворачивался, не прикрывал глаза ладонью; казалось, он намеренно подставлял щеки горячим полуденным лучам, и это правилось ему. — Мы должны использовать все: каждое углубление, каждый кустик, каждую кочку...

Сердечная теплота, с какой говорил командующий, напоминая о битве на Волге, и то, как он дружески клал руку на плечо подполковнику Табола, — все это уже не удивляло Володина, а только подтверждало минуту назад возникшую догадку, что Ватутин и Табола, конечно, старые фронтовые товарищи. Он больше смотрел на Табола, чем на Ватутина, и почти совсем не замечал ни раскрасневшегося майора Гриву, ни поминутно одергивавшего гимнастерку капитана Пашенцева, ни высокого и стройного, не сказавшего за все время ни слова генерала — командующего Шестой гвардейской армией.

Тому, что Володин видел и слышал, что происходило на позициях его взвода, он придавал особое значение. Он был уверен, что совершалось что-то большое, чего он ждал много лет и что наконец настало (так думал он и тогда, когда впервые надел погоны младшего лейтенанта, и когда приехал на фронт, и когда получил на погоны вторую звездочку, но сейчас, именно сейчас совершалось главное); теперь все должно измениться, он будет другим, и он уже чувствовал себя тем другим — вдруг повзрослевшим; и этот маленький участок обороны, который занимали бойцы его взвода, представлялся ему самым ответственным, где будет решаться судьба фронта, судьба России; было немного страшно сознавать это, но вместе с тем это-то и радовало его и возбуждало фантазию. Хотелось, чтобы командующий как можно дольше пробыл на позициях взвода, но Ватутин закончил разговор и собрался уходить, только ожидал командарма Шестой гвардейской, который все еще рассматри-

вал в бинокль белгородские высоты и стал что-то пояснять майору Гриве, и Володин тревожно оглядывался то на командарма Шестой, то на Ватутина, молча наблюдавшего за тем, как Табола выбивал о каблук трубку. Наконец командарм передал бинокль Гриве, и все — командующий фронтом, генералы и офицеры — двинулись вдоль траншеи к стадиону. Лишь капитан Пашенцев задержался на позициях. Он подошел к Володину, и тот вздрогнул, неожиданно увидев перед собой командира роты. Как и тогда, после рапорта, Пашенцев крепко стиснул руку лейтенанту. Уже отходя, сказал:

— Ловушки ройте сразу, сейчас.

— Ловушки? — переспросил Володин.

— Танколовушки... Разве вы не слышали?

— Слышал, — поспешно подтвердил Володин и смутился, заметив недоверчивый взгляд капитана.

Что подумал Пашенцев — понял ли, что командир взвода сказал неправду, или об этом у него только промелькнула догадка; но Володину показалось, что капитан все понял и оттого посмотрел так недоверчиво. Это отрезвило Володина, и он, стыдясь, шагнул было вслед за капитаном, но тут же остановился. Провел ладонью по лбу и ощутил липкий и холодный пот. Только теперь он заметил, что весь взмок. Рубаха прилипла к телу. Ныли все еще напряженно приподнятые, занемевшие плечи. Но не это волновало Володина — ловушки для танков нужно рыть и, конечно, не наобум. Придется обращаться к Пашенцеву, расспрашивать по телефону. Он с грустью посмотрел на уже пересекавших стадион генералов и офицеров: вместе с ними удалялось то торжественное, что всколыхнуло Володина и навсегда запечатлелось в его душе, и возвращалось то земное, скучное, как всегда бывает при затяжной обороне, повторяющееся изо дня в день и до тошноты надоевшее: то же сухое горячее солнце, те же серые сыпучие стены траншеи, та же фронтовая «тишина», ложные тревоги и разговоры о скором немецком наступлении.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В то время как Володин переживал торжественные минуты встречи с командующим фронтом, боец его взвода Саввушкин, которого считали погибшим и о котором во всех инстанциях уже было забыто, как забыто вообще о неудавшейся разведке (в разведку в эту ночь ходило несколько групп, и штаб дивизии получил нужные сведения о противнике), — Саввушкин брел по

лесу с вытекшими глазами, не видя ни солнца, ни тропинки, ни деревьев, на которые то и дело натыкался, даже не чувствовал боли, а только слышал за спиной раскатистый, как пулеметная очередь, смех эсэсовцев. Немцы вели его в Тамаровку, но по дороге выкололи глаза и бросили одного в лесу. Так великодушно распорядился встретившийся генерал-полковник фон Шмидт. Генерал-полковник спешил к своим танковым дивизиям, подходившим к фронту, и потому был настроен оптимистически. Он сказал, что допрашивать сегодня пленного русского солдата нет никакой необходимости и что ничто уже не изменит ход событий. Германская армия готова к наступлению. На передний край будет обрушено столько огня — и с воздуха, и с земли, — что вряд ли потребуются скудные солдатские сведения о каком-либо оружии или доте; огонь сметет все: и оружие то, и дот.

Саввушкина не допрашивали; просто спросили, какого полка, — и все. Но может быть, как раз потому, что не допрашивали, не мучили, не пытали, неожиданная слепота так ошеломила его, что в первую минуту он даже не понял, что немцы с ним сделали. Было такое ощущение, будто его сильно ударили по глазам, и тьма, сразу плотной стеной ставшая вокруг, воспринималась не зримо, а как глухота от удара. Он прошел несколько шагов и упал, зажав лицо руками. Пальцы судорожно нащупали окровавленные провалы глазниц. Он попытался приподнять веки, снова ощупал пустые глазницы, и тогда его охватил панический ужас. «Убейте, гады! Лучше убейте!» — закричал он. Не физическая боль, которую Саввушкин сгоряча почти не почувствовал, а страх перед вечной слепотой, на которую он был теперь обречен, заставил кричать о смерти. Сразу, как вспышка, мелькнула в голове картина: в старой, прожженной солдатской шинельке идет он, сгорбленный, в темных очках, и прохожие сторонятся его, как когда-то сам он сторонился убогих слепых; потом — мать, ее лицо, дрогнувшие морщинки... Всем телом, каждой клеточкой запротестовал Саввушкин против такой судьбы: «Убейте, гады! Лучше убейте!» Но в него никто не стрелял, и он вскоре понял, что остался один. Он все еще зажимал ладонями пустые глазницы и громко, никого не стесняясь, стонал, теперь уже от острой, нарастающей ломоты в висках. Вместе с ощущением боли возвращались к нему жизнь, самообладание. Он разорвал нижнюю рубаху и обмотал ею лицо и голову; по булькающим звукам и, может быть, даже по запаху вышел к небольшой лесной запруде. Кажется, никогда он не пил с таким наслаж-

дением воду, как в этот раз, ладонями черпая ее вместе с травой и лягушечьей зеленью. Вода освежила и приободрила его. Теперь можно было подумать, что делать дальше.

Утром, когда его вели, он видел массу вражеских танков и пехоту. Танки стояли всюду — в лощинах, на опушках, в лесу. Саввушкин старался запомнить, где они стоят, и даже несколько раз принимался считать их. Его поразило такое большое скопление немецких войск. А ведь там, в Соломках, ничего об этом не знали. Сообщить, обязательно сообщить нашим! Этой мыслью жил он все утро. Надеялся убежать, ждал, искал случая. И вот теперь, когда он был свободен и вполне мог двигаться, эта мысль снова овладела им. Она должна была вернуться, эта мысль: и потому, что так подсказывал солдатский долг, и еще потому, что сейчас, в эту минуту, ему хотелось самой страшной мести гитлеровцам. Он встал и пошел, подчиняясь инстинктивному желанию — идти, идти! В этом было его спасение — выберется из лесу, наткнется на какой-нибудь хутор, встретит старика или парнишку, скорее всего, парнишку, так представлялось Саввушкину, и парнишка отведет его к партизанам. Но партизан в прифронтовой полосе может и не быть вовсе. Он не подумал об этом, потому что хотелось верить в лучший исход. Человек всегда верит в спасительное чудо, когда ему тяжело! Шел Саввушкин сначала медленно, осторожно, подолгу обшаривая ногой землю, прежде чем ступить на нее. Наткнулся на сваленное бурей дерево и выломал себе палку. Теперь пошел бодрее, и мысли потекли спокойнее. Но лес все не кончался. Саввушкину казалось, что он прошел километров десять, но он не прошел и одного; босые ноги его были в ссадинах и кровоточили (второй сапог еще в траншее немцы сняли с него ради смеха), руки тоже были исцарапаны по самые локти, и весь он еле держался на ногах от усталости, но не садился, отдыхал стоя, прислоняясь к стволам деревьев.

«Дойти!..»

«Сообщить!..»

Саввушкин отталкивался и снова двигался вперед, напрягая внимание, чтобы не сбиться с прямой, чтобы не пойти по кругу. Он уже почти отчаялся выбраться из лесу, когда вдруг почувствовал, что вышел на опушку. Будто шире, свободней стало вокруг. Лесная сырость и тень, как тяжесть давившие на плечи, отступили. Солнце приятно обожгло щеки. В лицо пахнуло полем, степью, огородами. Он стоял и глотал сухой воздух. Теперь — близко, теперь — где-то совсем рядом должен быть



хутор, потому что уж очень пахнет огородной ботвой. Саввушкин всегда безошибочно улавливал этот запах жилья. Собравшись с силой, он шагнул вперед и вскоре очутился в зарослях подсолнуха. Он обрадовался подсолнухам, как может обрадоваться человек только собственному счастью, с лихорадочной поспешностью перебирал упругие и шершавые стебли, ощупывал листья, головки и нежно прижимался к ним щекой.

«Дошел!»

«Добрался!»

Так думал Саввушкин. Он отдыхал и наслаждался тем, что может отдыхать, что заслужил этот отдых. Над головой, над желтой шляпкой подсолнуха, кружил шмель, и жужжание его было таким мирным и успокаивающим, что Саввушкин улыбнулся. Теперь, когда он не мог видеть, он слушал и воспринимал день по звукам. Даже солнце, горячо припекавшее щеку и шею, казалось, имело свой особый, певучий голос.

Неожиданно, сначала будто совсем далеко, послышался потрескивающий рокот мотоцикла. Рокот приближался, и Саввушкин забеспокоился. За все время, пока он шел по лесу, ни разу не подумал о немцах. Они выкололи ему глаза и отпустили, зачем же он им слепой? Так, по крайней мере, считал он, и все же не хотелось попадаться на глаза мотоциклисту. Еще секунду стоял Саввушкин, прислушиваясь и по нарастанию рокота стараясь определить, где проходит дорога, может быть, совсем в стороне, и не нужно убегать, прятаться; еще выждал немного, прислушиваясь к глухим ударам сердца и нарастанию тревоги в груди; инстинкт самосохранения заставил его броситься глубже в подсолнухи, ломая стебли и листья. Он споткнулся и упал и в тот самый момент, когда падал, услышал позади резкую автоматную дробь. Пули хлестнули по ногам, по стеблям, по листьям. На мгновение к Саввушкину еще вернулось сознание, и он подумал, что как-то странно нарушилась звуковая гармония летнего дня, будто земля наклонилась, и все, что на ней было, покатилося по наклонной вниз, сшибаясь, разбиваясь и разбрызгивая искры...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Приезд командующего фронтом в Соломки майор Грива воспринял как то особое счастливое событие в армейской жизни, после которого обязательно должны последовать повышения.

Между прочим, повышения он ждал давно, с того дня, как Пашенцеву присвоили очередное звание — капитана. Гриву тогда, как бывшего штабиста, хотели перевести в полк и уже сказали ему об этом, а командиром батальона назначить Пашенцева. Но время шло, и никаких распоряжений о переводе и назначении не поступало. По каким-то соображениям Пашенцеву не решались доверить батальон.

Но вскоре стала известна истинная причина задержки — в послужном списке Пашенцева значилось: «Был в плену». Грива возмутился и сначала даже накричал на капитана:

— Вы должны были застрелиться от позора!

— В плену не был, — холодно и спокойно ответил Пашенцев.

— Как это?

— Был в окружении, но не в плену.

— Но, позвольте, записано!..

— В том и беда, что записано.

— Тогда почему не оспариваете?

— Устал, извините.

Майор пожал в недоумении плечами, и на этом разговор кончился.

Собственно, его возмутило не то, что Пашенцев был в плену, а другое — что этот плен теперь отразился на его собственной, майора Гривы, судьбе.

Но командир батальона не мог долго сердиться. Как все толстяки, отходчивый и добродушный, он вскоре забыл об этом. Не вспомнил бы и теперь, если бы не одно событие, происшедшее как раз накануне прибытия командующего в Соломки. К майору Гриве проездом заглянул знакомый офицер из штаба дивизии и сказал, правда предположительно, что майору нужно в самые ближайшие дни ожидать повышения, что переведут его или, вернее, заберут в один из отделов штаба дивизии. Вопрос этот будто бы уже решен, и оставалась только небольшая формальность.

— Надеюсь, у моего нового преемника никакого «плена» не обнаружится? — ехидно заметил Грива.

Штабной офицер снисходительно улыбнулся:

— Не всем так везет в этой войне, как вашему, э-э капитану...

— Пашенцеву.

— Пашенцеву...

Когда началась война, майор Грива находился на Дальнем Востоке. Он был заместителем начальника штаба полка и, мо-

жет быть, еще долго служил бы в этом чине и звании, не приметный, исполнительный толстяк с уже лысеющей головой, если бы не тщеславие. Все офицеры в полку просились на фронт, написал рапорт и он, Грива, втайне надеясь, что его-то наверняка не отпустят, как хорошего и примерного службиста... Он хорошо помнил то зимнее утро, когда с рапортом в кармане шагал по расчищенной солдатами дорожке к штабу полка; в то утро было как-то по-особенному светло — и потому, что ночью выпал снег и все вокруг будто обновилось и сверкало нетронутой белизной, и еще потому, что и у него самого было обновленно и чисто на душе; помнил изумленное лицо командира полка — тот был удивлен, приняв из рук майора Гривы рапорт; за окном, на дворе, прыгал по притоптанному снегу воробей, маленький, взъерошенный, круглый, как мячик, — и это хорошо помнил Грива.

Командир полка спросил его:

— Вы серьезно?..

— Да!

Это «да» и решило все. Десятки раз жалел потом Грива, что не промолчал тогда, в то утро, в кабинете командира полка. Через три дня он уже с чемоданом в руке шагал по перрону владивостокского вокзала. До самой последней минуты не садился в вагон, нехорошее, тяжелое предчувствие беды угнетало его. В слякотные мартовские дни он прибыл в распоряжение командования Воронежского фронта и сразу же попросился на штабную работу. Но его направили командиром батальона в действующую дивизию.

Однако майору повезло: на фронте вскоре установилось затишье и к тому же батальон перевели во второй эшелон. Грива быстро свыкся с обстановкой и начал уже посмеиваться над своими былыми опасениями. Не так уж и страшно служить в действующей армии и строевым командиром! Но в последние недели все чаще стали поговаривать о скором крупном немецком наступлении. В больших сражениях Грива никогда не участвовал, знал о них только по рассказам и из газет, но, не лишенный воображения, вполне представлял себе весь ужас будущих боев и, может быть, именно потому, что представлял, с тревожной настороженностью присматривался к нараставшим событиям; он полагал, что в штабе служить во много раз безопасней, чем командовать в бою батальоном, хотя бы уже потому, что не первая бомба на голову, не первый снаряд по окопам (часто в бою случается так, что штабам приходится еще труднее, чем сражающимся подразделениям — и бомбы «на

голову», и автоматные очереди по окнам, и связки гранат под гусеницы прорвавшихся танков, даже рукопашная, и вместе с этим нужно постоянно держать связь с частями, командными пунктами, по сводкам, по сообщениям разом охватывать происходящие события на участке обороны полка или дивизии, разгадывать замыслы противника и продумывать свои наступательные операции, точные, смелые, дерзкие, — нет, не так безопасна и легка служба в штабе, как об этом думал майор Грива); однако, на всякий случай, он написал письмо в политотдел дивизии с просьбой, чтобы хоть там походатайствовали о его переводе на штабную работу. «Я же штабист! — напоминал Грива. — С первого дня, как окончил военное училище, работал только в штабах. Все это отмечено в моем личном деле...» И вот — помогло ли письмо или командование само решило перевести Гриву? — знакомый офицер привез радостное известие: «В один из отделов штаба дивизии!» Весь день и вечер Грива находился под впечатлением этой новости. Ни прибытие артиллерийского полка в Соломки, ни споры с подполковником Табола о том, где и как лучше разместить батареи, ни даже неудавшаяся разведка и гибель Саввушкина не могли отвлечь его от приятных размышлений. Долго он не ложился спать в эту ночь, то сидел в блиндаже, то выходил во двор подышать свежим воздухом, и часовые видели, как он, толстый и прямой, залитый синим лунным светом, ходил взад-вперед вдоль стены амбара.

Несмотря на то что Грива провел почти бессонную ночь, утром он был оживлен и весел. Ни на час не покидало его радостное возбуждение: и когда была объявлена боевая тревога (как многие офицеры, он принял ее за учебную), и особенно потом, когда взошло солнце и всем стало ясно, что немцы сегодня уже никакого наступления предпринимать не будут.

О немцах он с усмешкой сказал:

— Как девицы: и охота, и боязно...

А встреча с командующим вызвала у него новую бурю чувств. Ватутину позиции понравились; уезжая, генерал сам сказал об этом. Правда, заслуги Гривы в строительстве оборонительных сооружений певелики — руководили армейские инженеры, — но похвалы генерала он полностью принял на свой счет и оттого, сияющий и, как всегда, суетливый, приказал немедленно созвать командиров рот, а когда те явились, велел начальнику штаба объявить им благодарность. Потом каждому пожал руку.

По такому торжественному случаю, Грива почувствовал,

нужно было произнести речь, и он уже, вскинув голову, сказал первое: «Товарищи!» — но его срочно вызвали к телефону. Никто не слышал, с кем и о чем говорил он, но когда, еще более сияющий и возбужденный, вернулся в комнату к офицерам, все поняли, что получена какая-то приятная новость.

— Ну, товарищи, — Грива откашлялся. Маленькие глазки его весело пробежали по лицам офицеров. — Майора Гривы у вас больше нет!

— Переводят? — догадался командир первой роты, между прочим тоже считавший себя претендентом на должность комбата.

— Да, переводят, — подтвердил Грива, не скрывая радости. — Сегодня же приказано сдать батальон и явиться в распоряжение штаба дивизии.

— И уже известно, кто вместо вас будет? — спросил все тот же командир роты.

— Капитан Го... Го... Горохов или Горошников. Кажется, все же Горошников.

Все невольно посмотрели на Пашенцева.

— Уже выехал, — продолжал между тем Грива, — через час-два будет здесь. Откровенно, товарищи, мне жаль расставаться с вами, но тут я, как говорится, неправомочен ничего решать. Хотелось в бою побывать с вами, но — что поделаешь? — не судьба. Закуривайте, капитан, закуривайте, — все тем же довольным топом сказал майор, заметив в руках Пашенцева папиросу. — Курите, товарищи офицеры, — снисходительно добавил он, уже обращаясь ко всем. — Я ничего не имею против, — и он принялся старательно вытирать давно уже вымокшим носовым платком потную шею и лысину.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вернувшись из штаба, Пашенцев снял сапог и начал растирать сипеватый и загрубелый рубец старой раны.

Утром он получил письмо из дому и теперь, оставшись наедине с собой, снова вспомнил о нем. Письмо обычное, как все предыдущие, какие он получал от жены, и только в конце было приписано несколько строчек о Сорокине, которого Пашенцев знал еще по совместной службе в Киевском военном округе. Жена писала, что Сорокин уже стал полковником, что приехал в город по каким-то служебным делам и что она на время уступила ему комнату. Какую? Кабинет, конечно, какую же еще! Вероятно, так было нужно, вероятно, в гостинице не

хватило мест, так утешал себя Пашенцев и все же испытывал неловкость оттого, что там, дома, в его кабинете, находился чужой человек, сидел за письменным столом, спал на той самой кушетке, на которой Пашенцев сам любил лежать с газетой в руках. Пашенцев думал, что ему неприятно именно это, а на самом деле его волновало другое: он знал Сорокина как человека непостоянного, а попросту — бабника, — и мало ли что может случиться, ведь они там одни! Правда, внук дома, но он в детской! Письмо лежало в нагрудном кармане, и сейчас, растирая ногу, Пашенцев чувствовал, как похрустывает прижатый к телу конверт.

В траншее послышался чей-то голос: «Где у вас ротный?» И едва капитан успел натянуть сапог, брезентовый полог, закрывавший вход в блиндаж, распахнулся, и на пороге появился подполковник Табола.

— Застал? — небрежно пробасил он, проходя прямо к столу и вглядываясь в лицо Пашенцева. Капитан стоял как раз напротив небольшого окна, похожего на амбразуру, и лицо его было освещено ярким дневным светом. — Батарею за вами ставим. Сразу за бруствером. Людей предупреди и сам знай... Но я не за этим. По случаю, поскольку здесь. Чертовски знакомо твое лицо, капитан. Ты извини, я прямо. Я еще вчера хотел спросить, да все как-то... С Барвенковского наступал в сорок втором?

— Да.

— На Харьков?

— Да. Наступал.

— С какой армией?

— Шестой.

— Н-да, — протянул Табола, еще внимательнее вглядываясь в лицо капитана. — Значит, в Пятьдесят седьмой не был? Ну тогда извини, ошибся.

— Возможно, — сухо подтвердил Пашенцев.

— Да, ошибся, — повторил Табола и встал. Уже в дверях, обернувшись, спросил: — С какой группой выходил из окружения: с Гуровым или с Батюней?

— Сам пробился!

— Да, ошибся, — в третий раз сказал Табола, теперь уже с иным оттенком в голосе и с иным, вложенным в эти слова содержанием: дескать, ошибся и в человеке, вернее, не ожидал встретить такой холодности и официальности.

Пашенцев вначале не заметил упрека; только когда стихли в траншее шаги, подумал, что, может быть, действительно

ответил подполковнику не совсем тактично. «Ну и черт с ним,— облегченно добавил он,— во всяком случае, никогда больше не заговорит со мной о Барвенковском выступе!..»

Пашенцев не любил вспоминать, как он попал в окружение и как выходил из него, потому что с этим было связано много горьких минут в его жизни. Его понизили в звании от полковника до лейтенанта, хотя, может быть,— и вернее всего! — не только он был виноват в той трагедии, которая развернулась на Барвенковском выступе весной сорок второго года. Две армии тогда попали в окружение, в том числе и полк Пашенцева... Многое выветрилось из памяти с тех пор, забылось. Он смирился со своей участью, смирился даже с тем, что ему по ошибке записали «был в плену», тогда как он был только в окружении (после войны все разберется!), но недоверие, с каким все еще относилось к нему старшее командование, особенно в последнее время, казалось Пашенцеву незаслуженным. Однако он не мог доказать свою правоту. Люди, которые подтвердили бы, как держался он в боях во время окружения, погибли, а если кто и остался в живых, разве разыщешь? Его словам не поверили, на пространным объяснении написали: «Самооправдание!» Потому и не рассказывал ничего о себе Пашенцев, и в батальоне, где он теперь командовал ротой, никто, кроме майора Гривы, не знал всей этой истории, но и Грива познакомился с ней не очень давно и представлял ее так, как было записано в послужном списке.

Сквозь окно-амбразуру просачивалась в блиндаж полуденная жара. Лицом, шеей ощущал Пашенцев теплое дыхание. Он стоял в раздумье, стараясь вернуться к своим прежним мыслям о письме, но разговор с подполковником, уже несколько раз повторенный мысленно и приобретший неожиданно большую, правда, еще не совсем осознанную значимость,— может быть, Табола и есть один из тех живых с Барвенковского выступа, так необходимых Пашенцеву для оправдания, или, точнее, для выяснения истины? — разговор с подполковником не давал ему покоя. Он вспомнил, как посмотрели на него в штабе офицеры, когда майор Грива объявил о новом комбате, и горечь обиды и неприязнь ко всем этим людям, по существу ничего не знавшим о нем, Пашенцеве, теперь с новой остротой обожгли сердце; и письмо жены вдруг предстало в ином свете — Сорокин получил полковника, вон что! Уж не хотела ли она сказать: «Ах, посмотри, какой ты неудачник!» И это, и, главное, недоверчивые взгляды товарищей заставили Пашенцева сейчас снова подумать о своем оправдании. «Как утопающий

за соломинку! — ехидно пошутил он над собой. — Однако Табола?.. Табола?..» Нет, не отыскивалось в памяти такой фамилии. «Табола?.. Табола?..» Картины тех дней одна за другой возникали и проходили перед глазами. Оказывается, ничего не было забыто, оказывается, Пашенцев помнил все с мельчайшими подробностями: и дни подготовки к наступлению, весенние, теплые, с первой зеленой травкой по южным склонам и еще не отшумевшими половодьем оврагами (тогда почему-то все больше заботились не о подготовке к прорыву вражеской обороны, а о том, как по слякотным дорогам обеспечить продвижение тылов за передовыми частями), и предбоевую ночь, и рассвет, розовый, ровный, тихий, и в этой тишине — раскатистый грохот вдруг начавшейся артиллерийской канонады, и все-все, что было потом — короткие перебежки на рубеж атаки, и сама атака, в которой то крик «ура» заглушал трескотню пулеметов, то пулеметы заглушали крик «ура»; и еще — отчетливо, отчетливо! — повисший на витках колючей проволоки солдат в серой шинели. Витки качались, и все тело качалось, будто живое, и ржавые колючки, как присоски, цепко держались за посиневшую щеку солдата. Дым, гарь, свист пуль, шипение мин и взрывы, взрывы — резкие, глухие, стонущие, и охриплые голоса команд, и свой собственный голос с надсадным дребезжанием: «Впер-ре-ед!» — лица бойцов, рябые от пота, напряженные, испуганные, веселые, злые, и, главное, тот общий наступательный порыв, то пьянящее чувство победы — немцы бегут! — которое испытывал он сам, все командиры и солдаты его полка, метр за метром упорно продвигавшиеся вперед, вся Шестая армия, устремившаяся в прорыв, — дым, гарь, свист пуль и весь этот хаос звуков и ощущений боя с такой реальностью всплыли сейчас в сознании Пашенцева, что он качнулся и прикрыл глаза ладонью: «Сколько напрасных усилий!..»

В окно-амбразуру все так же струилась, овеяла лицо и шею, полуденная жара. Пашенцев отошел в глубь блиндажа и сел на нары.

То наступление, о котором он вспоминал теперь, готовилось командованием Юго-Западного фронта. Намечалось по двум сходящимся направлениям — с Барвенковского выступа силами Шестой армии и из района Волчанска частями Двадцать восьмой армии — замкнуть и уничтожить харьковскую группировку фашистских войск. Двенадцатого мая армии успешно начали наступление, а семнадцатого, южнее наступающих частей, в полосе Девятой армии, гитлеровцы неожиданно нанесли

контрудар крупными танковыми соединениями, прорвали оборону и на шестой день боев вышли к Балаклее, где соединились со своей северной группировкой. Наши войска, действовавшие на Барвенковском плацдарме, оказались отрезанными от основных сил фронта.

Полк Пашенцева, измотанный в наступательных боях и потерявший почти две трети своего состава, отходил к Северному Донцу. Связь со штабом дивизии была потеряна. Все усилия наладить ее ни к чему не привели. Посланные люди или совсем не возвращались, или приносили дурные вести: «Дорога перехвачена немецкими мотоциклистами!», «Село заняли вражеские танки!», «Гитлеровцы захватили переправу!..». Завязывался бой, полк прорывался, оставляя на поле убитых и раненых; редели, таяли ряды рот с каждым днем. Но ни Пашенцев, ни солдаты и командиры, которых он выводил из окружения, не теряли надежды, что пробьются к своим. На рассвете двадцать шестого мая разведчики наткнулись на армейские тылы. И хотя это были тылы не своей, не Шестой, а Пятьдесят седьмой армии, все же Пашенцев обрадовался. Его полк тут же был переформирован в батальон и по приказанию командующего армией генерал-лейтенанта Подласа занял оборону у деревни Малые Ровеньки. Батальону предстояло задержать немцев и дать возможность эвакуироваться громоздким армейским госпиталям. Это был последний бой в окружении, и он особенно запомнился Пашенцеву.

Для поддержки батальона в Малых Ровеньках был оставлен артиллерийский дивизион, правда, тоже далеко не в полном составе — всего две батареи по три орудия. Командовал дивизионом пожилой, заросший бородой и усами капитан. Именно пожилой — так тогда показалось Пашенцеву. Он видел капитана всего один раз, и то мельком, во время разговора с генералом Подласом.

Пыльная обочина, черная генеральская «эмка», сам генерал Подлас, высокий, сухощавый, с раскрытым планшетом в руках, согнутая спина шофера, копошившегося в моторе, белые кудряшки облаков над малоровеньковской церквушкой, зеленые купола которой, словно после дождя, отливали новизной, — таким запечатлелся в памяти тот теплый майский день. По дороге только что прошли последние обозы, и пыль от колес еще держалась над травой. Перед генералом стояли двое — полковник Пашенцев и заросший артиллерийский капитан.

— Связь держите со мной, — говорил генерал. — Без приказа не отходить!

Генерал уехал. Через двадцать минут — ни Пашенцев, ни артиллерийский капитан не знали об этом — генерал был убит. Налетевший «мессершмитт» обстрелял машину из пулемета.

Вечером над Малыми Ровеньками появились фашистские самолеты. Деревня загорелась от бомб. Она горела всю ночь, застилая угарным дымом окопы. Всю ночь солдаты Пашенцева вместе с артиллеристами заросшего бородой и усами капитана отражали атаки автоматчиков. К утру немцы подтянули танки. Перед танковой атакой капитан успел предупредить Пашенцева: «Танки пускай на меня, а сам отсекай пехоту! Порознь бить — не пройдет!» Но Пашенцев все равно не мог задержать вражеские танки, потому что в ротах не было ни противотанковых ружей, ни противотанковых гранат; несколько ящиков зажигательных бутылок, присланных генералом Подласом, — вот все, чем располагал батальон. Зато патронов имелось достаточно и для пулеметов, и для автоматов. Может быть, Пашенцев и не согласился бы с таким планом боя и поспорил с артиллерийским капитаном, но обдумывать было некогда. Немцы начали атаку еще до восхода солнца. Шесть танков стремительно надвигались на позиции. Один из них солдатам Пашенцева удалось поджечь. Остальные, пройдя окопы, попали под удар батарей. Пулеметчики тем временем заставили залечь ринувшуюся было вперед вражескую цепь. «Молодцы, пехота!» — кричал в трубку бородатый капитан таким тоном, будто на другом конце провода слушал его вовсе не полковник, а какой-нибудь лейтенант, теперь сияющий от похвалы старшего командира. Пашенцев снисходительно улыбался, сам довольный тем, как разворачивался бой. Атака была отбита. Но за ней последовала другая, потом третья... На третий раз немцы перехитрили. Танки разбились на две группы. Одна группа ринулась на батареи, другая принялась утюжить окопы. Земля песчаная, щели заваливались, люди выскакивали и ошалело бежали к деревне. Их расстреливали из танков прямой наводкой, давили гусеницами. Пашенцев видел только начало этой страшной картины. Его контузило и присыпало землей. Только к ночи, когда выпала роса, он очнулся и пополз к уцелевшим домикам. Вокруг все уже было тихо. Бой давно кончился, пленных угнали, раненых добились.

Такая же участь постигла и артиллеристов. Но капитану с двумя орудиями удалось отступить к лесу. С опушки он еще сделал несколько выстрелов и ушел, видя и понимая, что бой окончательно проигран. Трое суток двигался он по ночам, окольными дорогами, к Северному Донцу. Потом соединился с

отрядом, которым командовал член Военного совета Юго-Западного фронта дивизионный комиссар Гуров, и с ним вышел из окружения. Этого Пашенцев уже не знал, как не знал и того, что и тылы, и госпитали Пятьдесят седьмой армии, отход которых прикрывал он со своим батальоном, не дошли до Северного Донца и были разгромлены танковой колонной противника.

Вышел Пашенцев из окружения с тремя бойцами, которых так же, как и его, подлечили и прятали у себя жители Малых Ровенек. В кромешной тьме переплывали Северный Донец. Левый берег черным крутым отвесом молчаливо возвышался над водой...

Пашенцев встал, откинул дверной полог. Солнечная дорожка пробежала по полу и легла на стену, и весь блиндаж сразу наполнился веселым и ярким светом. Теплый сквозняк зашелестел страницами раскрытого на столе журнала. Капитан взял его, бегло взглянул на заголовки, надеясь найти что-нибудь интересное, чего он еще не читал в этом номере, но все было знакомо — и статьи, и стихи, и иллюстрации. С обложки приветливо улыбалось молодое лицо санитарки. Она была в белом халате и белой косынке с красным крестом, и это белое словно было специально придумано художником, чтобы ярче оттенить бронзовый загар щек. Сквозь загар пробивались веснушки. «Мило!» — подумал Пашенцев, рассматривая обложку с протянутой руки. Потом поднес ее ближе к глазам, потом снова оттянул: лицо девушки показалось знакомым. Эти веснушки, эта светлая прядка из-под косынки... Она — из Малых Ровенек! Шура! Она приносила на чердак хлеб и воду и перевязывала рану!.. Пашенцев торопливо отыскал подпись: «Серафима Онучева из Астрахани. В тяжелые для Отчизны дни, когда фашисты были у ворот Москвы, она добровольно ушла на фронт. Десятки раненых вынесла она с поля...» Дальше читать не стал, разочарованно отложил журнал в сторону. «Так же вот и подполковник Табола обознался во мне, — подумал он. — Мало ли было людей на Барвенковском выступе! А, к черту все эти дурацкие воспоминания и догадки. Надо сходить на кухню...» Но мысль о том, что подполковник Табола все же может помочь «оправдаться», раз зародившись, уже не покидала Пашенцева. И по дороге на кухню, и на кухне — на дне оврага, у ключа, под ивами, когда разговаривал со старшиной и поваром и снимал пробу с борща и каши, привычно пахнувшей дымком, и когда вернулся снова в блиндаж и пошел по взводам проверять, как роют танколовушки, — все время думал о под-

полковнике. Теперь и слово — Табола! — казалось каким-то знакомым сочетанием звуков. «Табола?.. Табола?.. Какая была фамилия у того бородатого артиллерийского капитана?» Пашенцев чувствовал, что где-то здесь нужно искать разгадку. Первое, о чем он подумал, — это трубка. У бородатого капитана тоже в руках была трубка; когда генерал Подлас сел в машину, когда из-под колес генеральской «эмки» взвилась пыль, бородач, точно так же, как это сделал сегодня Табола во время встречи с командующим фронтом, принялся выбивать о каблук трубку. Одинаковая привычка у этих двух людей. Может быть, простое совпадение? Но тот бородатый артиллерийский капитан как раз и был из Пятьдесят седьмой армии, которую назвал сегодня Табола, так что вполне вероятно, что догадка верна. И еще одно обстоятельство наталкивало Пашенцева на эту мысль: когда в Соломки прибыл артиллерийский полк и в штабе батальона разгорелись споры о том, где лучше поставить батареи, Табола сказал: «Танки надо пропускать под огонь орудий, а пехоту должна отсекал пехота. Проверенный тактический прием, и на сегодняшний день самый лучший!» В этом высказывании явно чувствовался бородатый капитан.

«Он?..»

«Он!»

Однако, хотя Пашенцев и был теперь уверен в своей догадке и в этот же вечер хотел непременно сходить к подполковнику и поговорить с ним, события, развернувшиеся на закате солнца, нарушили все его планы.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Володин сам шагами отмерил расстояние и начертил квадраты. Он все еще был расстроен тем, что прослушал указание командующего, и, стараясь хоть чем-нибудь загладить свою вину, особенно тщательно выбирал места под ловушки и отсчитывал шаги. Когда бойцы, поснимав гимнастерки, взялись за лопаты, он тоже снял гимнастерку и стал копать вместе со всеми. Раз за разом выкидывал землю, прислушиваясь и подчиняясь общему ритму; было приятно ощущать силу в руках и еще приятнее видеть, как быстро продвигалась работа. Никто не жаловался ни на жгучее солнце, ни на безветрие, бойцы, как видно, понимали важность того, что делали, и потому работали с молчаливым упорством, без передышек

и перекуров; лишь когда стали подчищать дно, кто-то со вздохом сказал:

— Вот это работнули!

Володин узнал по голосу Царева.

Царев, улыбаясь, достал кисет; глядя на него, отложил лопату и Бубенцов и тоже полез в карман за кисетом. И — словно только этого и ожидали — бойцы разом прекратили работу. Пока закуривали, еще молчали, но едва над головами заструился облегчающий душу махорочный дымок, заговорили шумно, весело. Это вдруг возникшее оживление захватило и Володина, и он на минуту забыл, что к пяти часам, как передал Пашенцев, придет на позиции майор Грива проверять и что нужно поэтому спешить; Володин прислушивался к голосам: пулеметчик Сафонов говорил, что командующий фронтом, по его мнению, человек простой, хотя и генерал, — Володин вполне разделял его мнение; боец Чебурашкин сетовал, что так и не успел как следует разглядеть генерал-лейтенанта, — Володин вполне понимал его досаду; и даже то, что Бубенцов назвал генерал-лейтенанта своим земляком и насмешил товарищей, — тоже хорошей шуткой отозвалось в душе Володина. Он понимал, почему солдаты его взвода сейчас охотнее вспоминали о генерал-лейтенанте: в то время как Ватутин стоял на бруствере и разговаривал с офицерами, член Военного совета фронта был рядом с бойцами, в траншее, и это запомнилось сильнее. Володин уже сам готов был включиться в разговор и поделиться впечатлениями, но возглас старшего сержанта Загрудного: «Разговорчики!» — остановил его. Хотел ли Загрудный «подковырнуть» лейтенанта, помня утреннюю обиду, или сказал из лучших намерений, как старый, опытный служака, которого уже ничто не может ни увлечь, ни отвлечь от порученного дела? Когда Володин посмотрел на него, старший сержант как ни в чем не бывало подгребал землю. И все же в этом замечании Володин уловил нехорошее: сперва просто подумал, что старший сержант ловко «отплатил» ему за утреннюю резкость, но тут же решил, что хотя Загрудный и прав: спешить надо! — но поступил гадко, поставив его, Володина, в неловкое положение перед бойцами.

«Разговорчики!» — мысленно повторил лейтенант Володин, и хотя никто не слышал, с каким ехидством он повторил это слово, для самого лейтенанта оно прозвучало так, словно было сказано вслух, громко, и все, что он хотел вложить в него — и презрение, и насмешка, и упрек, — было в нем в полной мере. Он швырнул на землю окурок и придавил его каблуком.

Работать больше не хотелось, он вылез из ямы и уже ни за что не брался, а только следил, как солдаты на плащ-палатках относили накопанную красную глину в ближнюю воронку, как укладывали жерди и ветки над ловушкой, как застилали это зыбкое перекрытие старым сухим сеном и засыпали сверху землей. Когда бойцы, закончив работу, отправились вместе с Загрудным готовить вторую яму и только оставшийся Царев все еще ползал на животе по перекрытию, разравнивая комки и траву, Володин отошел и посмотрел издали на танколовушку. Маскировка хорошо сливалась с выгоревшей травой, и танколовушку почти не было заметно. Но это не обрадовало Володина, лишь на какой-то миг шевельнулась в нем гордость за бойцов, которые все могли: окоп так окоп, блиндаж так блиндаж, ловушка так ловушка; которые, сколько он помнил, ни разу не подводили его; лишь на миг вспыхнуло это чувство гордости и потухло, и он уже смотрел не на ловушку, а дальше, туда, где кончались или, вернее, начинались первые плетни соломкиных огородов, туда, где несколько часов назад работали регулировщицы с развилки, где он видел в бинокль Людмилу и где теперь никого не было видно — ни девушек, ни выкопанных ими щелей, а только редкая и желтая, взбегавшая на пригорок пшеничная осыпь. Когда он вернулся к танколовушке, Царев сидел на клочке оставшегося от маскировки сена и, сняв сапог, вытряхивал из него землю.

— Тишина-то, а, товарищ лейтенант, благодать, — заметил боец.

Володин не ответил. Тишина раздражала его. Со злостью подумал, что хоть бы поскорее бой, там некогда будет вспоминать ни о развилке, ни об этой глупой ссоре с Загрудным. Самым неприятным для Володина было то, что он понимал, что нет больше причин злиться на старшего сержанта, и в то же время чувствовал, что не может не злиться, и оттого душевно мучался, и в тишине, царившей вокруг, эти мучения были еще ощутимее. Он усмехнулся тому, с какой горячностью принялся рыть танколовушки; они все же на какой-то час отвлекли его от тягостных дум; но вот одна уже готова. Скоро и вторая будет готова, а потом? А потом придет майор Грива, похвалит и назначит на завтра учебную стрельбу или опять заставит изучать противотанковые ружья... Бой, только бой — чтобы вновь почувствовать себя солдатом!

Царев натягивал сапоги, и Володин смотрел на его загорелые волосатые руки. Царев не торопился, точно рассчитывая

движения, словно боясь своей силы, а Володину казалось, что боец утомлен и хочет спать. Володин и сам не прочь был спуститься в прохладный блиндаж и отдохнуть.

— Тишина, — снова заговорил Царев, — и жарища, не приведи бог. Отродясь еще не помню такой жарищи.

— Жарища, да-а, — подтвердил Володин и, щурясь, посмотрел в знойное небо.

— Эх, — вздохнул Царев и, хлопнув ладонью по карману, нащупал пальцами кисет, — деньки какие пропадают... Как вы думаете, товарищ лейтенант, пойдут завтра немцы или нет? Не зря нынче к нам генералы приезжали.

— Пойдут, Царев. Завтра утром должны пойти...

Сказал Володин то, что говорили все, раз сегодня не пошли, пойдут завтра утром, именно утром, на рассвете, но ни в какой иной час дня, потому что крупные наступления немцы всегда начинали на рассвете. Да и не только немцы. Если посмотреть историю войн, никто не начинал ни одного сражения под вечер. Сейчас было около четырех часов дня, и поэтому многие и на передовой и в штабах считали, что немцы упустили время для наступления. Так думал и майор Грива, который в эту минуту сидел один в своем пятинакатном блиндаже и уже чувствовал себя работником штаба дивизии, хотя новый комбат капитан Горошников еще не прибыл и не принял батальона; так думал и подполковник Табола, с трубкой в зубах отчитывавший командира первой батареи за то, что тот плохо замаскировал орудия; так думал и капитан Пашенцев, проходивший сейчас по траншее и проверявший готовность взводов; думали так и бойцы, изнывавшие в окопах от жары и ругавшие командиров за ложную тревогу. Иначе и нельзя было думать. На передовой было спокойно, ни наши, ни немцы не стреляли. В полдень над передним краем появилась «рама», прошла вдоль линии фронта, не углубляясь в тыл, и улетела — и больше ни самолета. Словно задремало все вокруг, притихло. Только в березовом колке копошились люди — это окапывалась прибывшая туда по приказу подполковника Табола вторая батарея; да на рыжем поле прошлогодней гречихи работали минеры, устанавливали противотанковые мины.

Тишина раздражала Володина. Он смотрел на спокойные в полуденной синеве белгородские высоты и совсем не подозревал, что там, за высотами, уже вступила в права иная тишина. В лесу у деревни Ямное, в километре от линии фронта, разворачивалась к бою танковая дивизия СС «Райх»; к южной окраине Королевского леса подтягивались подразделения тап-

ковой дивизии СС «Великая Германия»; в районе Локня, в низине, выстраивались в ромбовую колонну для удара части танковой дивизии СС «Адольф Гитлер»... Еще час назад на командный пункт, оборудованный вблизи хутора Раково, прибыл фельдмаршал фон Манштейн. Скрестив на груди руки, он стоял в траншее рядом с входом в глубокий, с бетонным перекрытием блиндаж. Широкие поля фуражки затеняли его лицо, отчего оно казалось мрачным. В нагрудном кармане фельдмаршала лежала сложенная вчетверо директива фюрера — начать наступление пятого в шесть утра. Но Манштейн решил нанести первый удар сегодня в четыре часа дня и уже дал приказ по войскам. О своем решении он не сообщил в генеральный штаб — не хотел отдавать свою славу другим, как это было с ним четыре года назад, когда немецкие армии перешли французскую границу. Тогда, рядовой генерал, всего лишь начальник штаба армии, Манштейн разработал и представил план разгрома французских войск. План был принят и осуществлен, но не ему, Манштейну, досталась слава и даже не командующему группой армий «Центр» фон Рундштедту, а фюреру. Нет, на этот раз Манштейн ни с кем не поделился своими замыслами, и, хотя перед ним сейчас была не Франция и план его был не столь грандиозным, как тот (он позволил себе всего-навсего перенести время наступления), все же фельдмаршал надеялся на многое. Он рассчитывал, что в четыре часа дня солнце висит над горизонтом как раз на уровне глаз. Его авиация окажется в очень выгодных условиях. Немецкие самолеты будут лететь от солнца, в то время как русским летчикам придется вести бой против солнца, вслепую. До вечера авиация сделает свое дело — расчистит путь наземным ударным группам, танки прорвут оборону, выйдут на оперативный простор и через два дня будут в Курске... Скрестив на груди руки, фельдмаршал смотрел на солнце, на то самое солнце, которое обжигало плечи Володиной, на которое, щурясь, негодовал Царев, которое проклинали в этот час тысячи солдат в знойных окопах по ту и по эту сторону фронта, — он с надеждой смотрел на то самое солнце, которое — он не допускал и мысли об этом! — через неделю станет для него черным. Фельдмаршалу ежеминутно докладывали о готовности дивизий к бою. Он выслушивал молча. Думал ли он о том, что по его сигналу с минуты на минуту тысячи немцев пойдут умирать за «Великую Германию», или беспокоился о своей судьбе, помня крутой нрав фюрера (он не знал, что в ставку уже сообщили о нарушении им директивы), — фельдмаршал

вздрагнул, когда к нему подошел адъютант и доложил, что получена шифрованная радиограмма от Гитлера.

— Читай! — не оборачиваясь, приказал фельдмаршал.

Адъютант прочел:

— «Если наступление еще не начато, приостановить и действовать согласно директиве».

Манштейн взглянул на часы и холодно произнес:

— Начато!

Тишина раздражала Володина. Он смотрел на спокойные в полуденной синеве белгородские высоты и совсем не подозревал, что тишина уже не была тишиной: на вражеских аэродромах ревели прогреваемые моторы и тупорылые танки зловеще выползали на рубеж атаки. Оживление в немецких окопах заметили наши наблюдатели. По телефонным проводам, по этим синим, желтым, зеленым змейкам в траве понеслись тревожные донесения в штабы полков и дивизий, и оттуда передавались обратно в батальоны и роты приказы. Разом включились в работу сотни раций, и знойный, кажущийся недвижимым воздух наполнился возбужденными голосами, неслышными ни для хмурившего брови Володина, ни для добродушно дымившего сигаркой Царева, ни для тех, кто рыл танколовушку, кто окапывался в березовом колке... Нет, Володин не знал, что тишина уже не была тишиной, что на батареях уже расчехлили орудия и земля оцетинилась жерлами, а с аэродромов уже взмывали в небо самолеты; что в эту самую минуту начальник штаба Воронежского фронта генерал-майор Корженевич доложил только что вернувшемуся после осмотра позиций командующему о тревожных донесениях с передовой, что Ватутин, так же, как он, Володин, из-под ладони покосился на солнце, только Володин — сонно и безучастно, а командующий — с опаской, потому что понял, в каком невыгодном положении окажутся наши эскадрильи, если немцы сейчас начнут наступление.

Володин подбирал с земли сухие стебельки и с хрустом перелаамывал их между пальцами. Царев докуривал, обжигая губы. С гречишного поля подул ветерок, и стали слышны голоса минеров. И вместе с голосами Володин услышал глухой и далекий, еле уловимый гул самолетов. Гул нарастал, усиливался, и в то, что сперва промелькнуло только догадкой — летят вражеские бомбардировщики, — теперь цельзя было не верить. Царев встал. Поднялся и Володин, настороженно всмат-

риваясь в ту сторону, откуда доносились рокочущие звуки. Самолетов не было видно — солнце слепило глаза, — но по тому, как надрывно гудели моторы, Царев сразу определил, что летят «юнкерсы».

— На Курск, — высказал предположение боец.

— Пожалуй, — подтвердил Володин.

За лесом ударили зенитки, и по небу рассыпались белые и черные облачка разрывов. Теперь, в разрывах, «юнкерсы» были хорошо видны. Они летели уверенно, не обращая внимания на огонь зенитных батарей, только крылья сверкали на солнце. «Красиво, сволочи, идут, — подумал Володин и стал мысленно считать: — Один, два... десять... двадцать один...»

— Мать честная!.. — воскликнул Царев. — Глядите, товарищ лейтенант, вон, слева, еще одна группа, и справа тоже, смотрите... А эти прямо на нас!

— Не на нас.

«Юнкерсы» летели тремя большими партиями, а за ними уже входили в зону обстрела еще две группы немецких штурмовиков. Володин не сводил глаз с бомбардировщиков. Смотрел на них и Царев, смотрели на них и бойцы у танколовушки, прскратившие работу, и минеры с гречишного поля, и артиллеристы из березового колка, и никто не кричал тревожное: «Воздух!» — как-то не верилось, что «юнкерсы» летят сюда, что они сейчас начнут бомбить и надо прятаться в щели: была тишина, были привычные спокойные будни обороны, каждый день пролетали над Соломками чернокрестные «юнкерсы» бомбить Обоянь и Курск, вот и сегодня летят. Но сегодня их было необычно много, и это вызвало тревогу. Царев уже покосился на траншею, но Володин пока не подавал виду, что обеспокоен. Только когда передний бомбардировщик, неожиданно упав на крыло, пошел в пики, Володин во весь голос крикнул:

— Воздух!..

«Юнкерсы» пикировали с включенными сиренами, и сирены были так оглушительно и с таким паническим надрывом, что даже издавших виды солдат пробирал холод. Люди прижимались к земле, не смея поднять голову, не смея шевельнуться; неподвижно лежал и Володин, уткнувшись лицом в колкую, пахнущую солнцем траву. Он не добежал до траншеи. Завывание сирен пригнуло его, придавило и плашмя бросило на землю. Он только видел, как Царев, бежавший вместе с ним, дважды вырывался вперед и дважды останавливался, поджидая



своего командира, но успел ли боец укрыться за бруствером или нет, это ускользнуло от Володи́на: его обдало взрывной волной, сквозь гимнастерку ощутил он горячее дыхание тола и содрогнулся от мысли, что может погибнуть вот так, по-глупому, совсем по-глупому, не совершив ничего.

Когда первые ошеломляющие минуты прошли и грохот разрывов и вой сирен уже не казались такими страшными, как вначале, сквозь содом звуков Володин стал различать и рев моторов, и взрывы бомб разных калибров, и то, где они рвались, левее или правее, и куда перемещался центр бомбежки, и временами даже дробный говор зенитных батарей; среди общего гула уловил совсем непохожие на разрывы бомб тупые удары — это за логом ухали орудия и сюда докатывался тяжелый отзвук артиллерийской канонады. Сначала с тревогой, затем с радостным озлоблением подумал: «Началось!» И с той минуты, как понял, что наступление началось, уже по-иному воспринимал и завывание сирен, и грохот рвущихся бомб, будто не они теперь были властны над ним, а сам он приобретал над ними силу.

Рядом застрочил автомат, Володин приподнялся на локтях: впереди, в трех шагах от него, Царев с колена стрелял по



скользившему в пике «юнкерсу». Спокойно, как указкой чертил боец по небу ствол автомата; когда нажимал на курок, плечи сухо и мелко вздрагивали. Володин не удивился (в бою никогда ничему не удивляются, виденное только откладывается в памяти, а удивление приходит потом, у костра или за мирной сигаркой), он посмотрел поверх Царева, туда, в кого метился боец: самолет стремительно шел в пике, от днища оторвались черные точки и понеслись к земле.

Володин бросился к Цареву и над самым ухом бойца крикнул:

— Ложись!

Они упали рядом. С оглушительным треском взметнулись вдоль окопов разрывы и — раз, раз, раз! — покатались к безрезовому колку. В какое-то мгновение Володин ощутил, как судорожно дернулось тело Царева; еще не сознавая, что произошло, но уже чувствуя, что случилось что-то непоправимое, привстал и взглянул на бойца и тут же вскочил, забыв об опасности: Царев лежал на боку, поджав колени, отсеченная осколком рука его беспомощно свисала за спину, из раны хлестала кровь. Володин секунду растерянно смотрел на Царева, машинально ощупывая карманы, надеясь найти в них

индивидуальный пакет для перевязки, затем в отчаянии зажал рану солдата рукой. Кровь ударила в ладонь и брызнула сквозь пальцы. Свободной рукой Володин рванул на себе гимнастерку, рванул нижнюю рубашку, чтобы хоть как-нибудь перевязать бойца и остановить кровотечение, но лицо Царева покрывалось меловой бледностью и стекленели глаза, и это было страшно.

Небо прояснялось над Соломками. Последний «юнкерс», отбомбившись, как подранок, кренясь на крыло, уходил за линию фронта, и черная полоса дыма стелилась за ним. На землю оседала пыль, солдаты словно вырастали из этой пыли, отряхивались и озирались: с гречишного поля кого-то несли на шинели, и этот кто-то не кричал, и даже не стонал, а, выплевывая липнувшие к губам кровавые сгустки, громко, на все поле, перебирал богов и чертей. Его проносили мимо уткнувшегося носом в землю немецкого бомбардировщика. Самолет горел как факел; когда ветерок сгонял с фюзеляжа пламя и дым, на хвостовом оперении зловеще вырисовывалась черная свастика в желтом кругу. Но Володин не оборачивался, ему словно не было ни до чего дела, он еще не знал, что на месте второй танколовушки зияла огромная воронка, что тех, кто оставался в ней пережидать налет, взрывом расшвыряло по полю, что они валялись сейчас в траве в нечеловеческих позах и одежда дотлевала на них, растекаясь по складкам синим едким дымком, — он не отрывал взгляда от Царева, и те мгновения, пока смотрел на умирающего, казались ему самыми тяжелыми в жизни. Он и не подозревал, что всего лишь через несколько минут, когда увидит одиннадцать изувеченных солдат своего взвода, одиннадцать трупов, сложенных рядом вдоль бруствера, ему придется пережить еще большее потрясение, а через день, когда лавина вражеских танков прорвется к Соломкам, — испытать полную чашу ужасов войны. Сейчас он думал об одном — о нелепой гибели Царева, и то всеоправдывающее, просторечное «Война без жертв не бывает», которое сотни раз слышал он и в тылу, и на фронте, которое часто повторял сам с легкостью и в шутку, и всерьез и которое теперь так ясно всплыло в памяти, звучало для него совсем по-другому, и не только не заглушало, а, напротив, усиливало душевную боль. Володин знал, он никогда не забудет этой ужасной минуты, хотя ему еще долго шагать по полям войны и смерть Царева затеряется в памяти среди тысяч других увиденных смертей; ротный старшина спишет Царева с довольствия и вздохнет и, может быть, помянет добрым словом, но тут же забудет, занятый своим делом; в штабе батальона

внесут солдата в общий список погибших под Соломками в такой-то день, в такой-то час, и пойдет этот список по инстанциям, желтея и выцветая, пока не ляжет где-нибудь на архивную полку; и только детям и жене эта смерть выстелет траурную дорогу через всю их жизнь. Но подвиги не умирают; смерти не забываются; пройдет время — и Володин еще будет стоять с непокрытой головой у памятника Неизвестному солдату, и тысячи виденных смертей, может быть, и эта первая — смерть Царева — вновь с ужасающими подробностями встанут в памяти. Когда подбежали бойцы, Володин пучком травы вытирал окровавленную руку. Он делал это неторопливо, спокойно; казалось, все его внимание было сосредоточено на том, как чище соскоблить с руки загустевшую, местами схватившуюся тонкой коркой чужую кровь. К нему подскочил боец и с хрустом разорвал пергаментную обертку бинта, но лейтенант отрицательно покачал головой — ему не нужна помощь; не говоря ни слова, он повернулся и зашагал к траншее. Смерть Царева всё еще угнетала его, но в груди уже рождалось и звенело, как колокольчик, радостное ощущение, что сам он — жив, жив! Он свершит то, что положено ему свершить, свершит за себя, за Царева, за всех, кто остался лежать в траве!.. Володин шел и смотрел на еще дымившую после бомбежки землю. Взгляд его попеременно останавливался то на охваченной пожаром бывшей штабной избе, возле которой метались серые фигурки солдат и двигались автомашины, то на изрытом воронками стадионе, который наоминал теперь кладбище со свежими могильными холмиками; что-то подтолкнуло взглянуть на развилку: никого, ни людей, ни палатки — голо, только две санитарные машины мчатся по шоссе к лесу, в тыл. Володин приостановился; пока всматривался пристальнее: может быть, он просто не заметил палатку, пока соображал, силясь вспомнить, бомбили «юнкерсы» развилку или нет, за спиной кто-то громко прокричал: «К траншее! Несите к траншее!..» Володин обернулся и только теперь увидел и развороченную бомбой вторую танковушку, и бойцов, которые подбирали раненых и убитых и перетаскивали их к траншее. Ближе всех к Володину, кого он мог хорошо разглядеть, проносили Бубенцова. Солдат был мертв.

Тела убитых сложили у бруствера. Вокруг стояли бойцы, молчали; красное предзакатное солнце освещало их угрюмые суровые лица. С передовой, то затихая, то усиливаясь, доносились канонада. Залпы и разрывы сотрясали землю, и солдаты, привыкшие за долгие месяцы обороны с тишиной, с затаенной

тревогой прислушивались к нарастающему гулу боя. Подошел Володин, подавленный и расстроенный — слишком большие потери понес взвод от бомбежки. Двое раненых и двенадцать убитых! Только что унесли в медсанроту старшего сержанта Загрудного с шершавым осколком в животе, и Володин видел, как старший сержант мучительно ежился на носилках и глухо стонал; только что увели под руку Корягу с перебинтованной головой, и Володин стискивал зубы, глядя, как подкашивались у бойца ноги; теперь он смотрел на тех, что лежали у бруствера, обожженные, окровавленные, с посиневшими застывшими лицами, и у него самого от пахлынувшей слабости подгибались колени. Особенно сильно изуродовало Бубенцова. Солдат лежал, как обрубок, без ног. Одну его ногу нашли метрах в пятнадцати от воронки, но она, будто чужая, была коротка и так неестественно примыкала к туловищу, что на Бубенцова нельзя было смотреть без содрогания. Хотелось отвернуться, уйти, чтобы не видеть этих искалеченных людей, но Володин стоял и смотрел, не смея нарушить молчаливую минуту прощания. Он не сразу сообразил, кто вызывает, когда по траншее из конца в конец прокатилось:

— Лейтенанта к телефону!

Звонил капитан Пашенцев. С ротного командного пункта он видел, как «юнкерсы» пикировали на позиции взвода, и потому спрашивал, есть ли во взводе потери и какие. Голос капитана, как всегда, был спокоен, а Володин, только что прибежавший по траншее — спешил на вызов командира роты — и еще не успевший отдышаться, говорил отрывисто, сбивчиво. Пашенцев несколько раз переспрашивал его и под конец упрекнул: «Вы что же, за воздухом не наблюдали?!» Володин и сам чувствовал — виноват, не подал вовремя нужную команду. Еще когда смотрел в стекленеющие глаза Царева, подумал об этом; потом, когда стоял у бруствера, эта мысль снова больно резанула по сердцу; а теперь, когда об этом же сказал Пашенцев, Володин ясно представил себе, что все было бы иначе, если бы он, как только появились «юнкерсы», приказал бойцам укрыться в щели. Дорого расплатился взвод за оплошность командира!.. Капитан Пашенцев уже закончил разговор, а Володин все еще прижимал к уху телефонную трубку, проклиная себя за нелепую самоуверенность — он никогда не думал, что именно в этот раз «юнкерсы» будут бомбить Соломки, — за то, что он только в помыслах хорош, а на деле — хуже некуда! Но мало-помалу ход мыслей принимал другое направление: лишь бы только оставили его в строю, тогда он еще проявит себя!

Больше чем когда-либо он готов был сейчас к подвигу и страстно хотел, чтобы немцы были здесь, шли в атаку на позиции его взвода... Искоса, не поворачивая головы, посматривал он на заволоченные дымом белгородские высоты и прислушивался к протяжному орудийному гулу. В эту минуту и подошел к нему командир отделения младший сержант Фролов. Он не козырнул, не щелкнул каблуками; негромко спросил:

— Товарищ лейтенант, похоронить бы?..

Володин не успел ни дослушать младшего сержанта Фролова, ни подумать о том, как и где похоронить бойцов, — над Соломками снова появились «юнкеры». Так же, как и в первый раз, они летели напролом сквозь заградительный огонь зенитных батарей; снова небо усеялось ватными разрывами, в самой гуще разрывов, распластав крылья, как бы красуясь, плыл головной «юнкерс». Навстречу вражеским бомбардировщикам летели наши истребители.

— Воздух! — скомандовал Володин, хотя еще не было ясно, будут ли «юнкеры» бомбить Соломки или повернут обратно, атакованные нашими истребителями. Он еще секунду помедлил, наблюдая, как в небе, усеянном облачками разрывов, где-то над этими белыми облачками, в голубизне, разгорался воздушный бой. Наши истребители встретились с немецкими, которые прикрывали группу «юнкерсов». На мгновение лейтенанта охватило любопытство, чем кончится воздушный бой, но головной «юнкерс» уже угрожающе накренился на крыло, готовясь пойти в пики, и Володин снова громко крикнул: «Воздух!!»

— Воздух! Воздух! — перекличкой прокатилась команда по траншее.

Однако бойцы не торопились выполнить команду, да и сам Володин не очень спешил в укрытие. Прижимаясь спиной к еще хранившей дневное тепло корявой стенке траншеи, он медленно, шаг за шагом, продвигался вслед за младшим сержантом Фроловым к боковой щели; он смотрел то на истребителей, яростно нападавших друг на друга, то снова на головной «юнкерс»: куда, на какую цель поведет он эту зловещую стаю чернокрестных бомбардировщиков? словно бронированные, плыли «юнкеры» в вечерющем небе, оставляя позади тающие облачка разрывов, и было досадно за зенитчиков, попусту растрачивавших снаряды. Но вот головной бомбардировщик качнулся и пошел вниз, распуская густой шлейф дыма.

— Так его... мать, правильно! — выругался связист, и Во-

лодин, сам того не замечая, вполголоса повторил эту короткую солдатскую фразу, относившуюся одновременно и к охваченному пламенем падающему «юнкерсу» и к зенитчикам, сбившим «юнкерс», повторил с тем же спокойствием в голосе, с той же восторженной и в то же время негодующей интонацией, с какой произнес ее связист.

Повторил еще раз, злее и резче, и с такими добавлениями — будто ему легче становилось от этого, — что не только младший сержант Фролов, но даже связист, любитель и знаток сальных словечек, приостановился и удивленно взглянул на лейтенанта.

«Юнкерсы» разбились на две группы. Одна из них отклонилась и пошла за Соломки, где размещались тылы батальона и санитарная рота полка, другая стала разворачиваться над стадионом. Самолеты вытягивались в цепочку, заходя в хвост друг другу. Знакомое построение — сейчас начнут бомбить! И вот уже на всем протяжении от стадиона вдоль по траншее до березового колка земля закинула от взрывов, и к этой земле — солдатской спасительнице — припали люди в выцветших запыленных гимнастерках, врылись почти на двухметровую глубину; и те, у кого щели были глубже, кто не ленился мозолил руки, сантиметр за сантиметром отбивая короткой пехотной лопатой сирессованную глину, — те чувствовали себя сейчас безопаснее и надежнее среди метавшегося за бруствером огня и металла. На земле рвались бомбы, а в небе, над «юнкерсами», по-прежнему шел воздушный бой, и наши истребители уже прорвались к «юнкерсам», уже подожгли второй немецкий бомбардировщик.

Володин так и не видел воздушного боя; он сидел в боковой щели вместе с младшим сержантом Фроловым и связистом. Младший сержант как уткнулся плечом в угол, так и лежал, собравшись в комок, до конца бомбежки, а связист, у которого, как видно, были нервы покрепче, все время ворочался, негодую на эту узкую щель, где даже некуда вытянуть ноги, устанавливал телефонный аппарат и охрипло кричал в трубку, вызывая ротный КН. Казалось, он совершенно не обращал внимания на бомбежку, будто не вражеские самолеты летели над головой и не от осколков укрывался он в щели, а от песчаной бури, и самое неприятное, что может случиться с ним, — это то, что после налета придется идти на линию соединять порывы. Связист ворчал, и в промежутках между разрывами Володин слышал обрывки его ворчливых фраз.

На этот раз немцы не включали сирен, может, потому

и показався палет не очень сильным и недолгим. И все же были моменты, когда Володин вновь безнадежно считал, что все кончено, и с замиранием втягивал голову в плечи. Он чувствовал, что бессилён что-либо предпринять, ведь перед ним нет врага, которого бы он видел, с которым мог бы потягаться в ловкости и споровке, — просто сыплется на него град осколков, и он вынужден сидеть, как крот, и ждать, какой из осколков окажется для него роковым. Не война, а убийство, уничтожение! Мысль работала, как никогда, ясно и четко, и Володин хорошо понимал всю целенность и трагичность своего положения, положения взвода, рот, всего батальона, попавшего под вторую бомбежку. Он не просто негодовал, а люто ненавидел «юнкерсы», что с завыванием проносились над окнами, и, если бы не пыль, густо застилавшая небо, он стрелял бы по ним из автомата, как Царев, стрелял бы до последнего патрона.

Как только смолкли разрывы и по удаляющемуся гулу моторов стало ясно, что «юнкерсы» отбомбились и уходят, Володин выпрыгнул на бруствер. Он был готов к самому худшему и не поверил глазам, когда увидел, что бомбы на этот раз не причинили почти никакого вреда позициям взвода. Воронки зияли справа и слева, и только в одном месте была завалена траншея, но и оттуда не слышалось ни стона, ни крика. Солдаты выходили из щелей; покрытые слоем пыли и оттого белесые каски их, как серые мячи, наполняли тускневшую в лучах заката траншею.

Володин передал по цепи, чтобы командиры отделений доложили о потерях. Ждать долго не пришлось. Почти тут же из второго и третьего отделений сообщили:

-- Потерь нет!

— Потерь нет!

Заменялся немного Фролов. Его пулеметчики располагались на самом левом фланге взвода, и, пока младший сержант добежал туда и выяснил, прошло несколько минут. Но и он вскоре передал, что ни убитых, ни раненых в отделении нет, только засыпало землей ручной пулемет, который уже отрыли и сейчас чистят. Но зато сложенные у бруствера трупы бойцов, погибших при первой бомбежке, вновь разметало взрывом по полю. Когда их собрали, то уже нельзя было определить, где Царев, где Бубенцов: на траве лежали окровавленные руки, ноги, туловища, и двое солдат во главе с младшим сержантом Фроловым рылись в этих изувеченных телах, отыскивая и забирая документы. Володин не мог смотреть, его знобило. Тен-

лый июльский вечер казался сырым и прохладным, Володин спустился в блиндаж и накинул на плечи шинель.

В термосах принесли ужины.

Володин ел без аппетита; когда вышел из блиндажа, было уже темно. По брустверу двигались люди — это солдаты похоронной команды уносили убитых. Молча уходили они в темень, сгибаясь под тяжестью носилок, и долго маячили вдали их облитые багрянцем пожара сгорбленные спины.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В бою человек тяготится увиденным. Только что пережита страшная минута, но она пережита, и мысли и чувства уже обращены вперед: что будет дальше, через час, через день? Что делается в соседней роте, полку, дивизии, на всем фронте? Где артиллерия, куда двинулись танки, будут ли нынче поддерживать пехоту «катюши», будут ли штурмовики и сколько? На все это нужны ответы, и не просто ответы, а ответы желаемые, такие, которые всегда хочется услышать в трудную минуту; и такие ответы всегда находятся, они рождаются здесь же, в окопах, среди солдат, зачастую самые невероятные, самые неправдоподобные; но никто не доискивается правды, важно, что в соседнем полку «все идет хорошо», что там «захватили трофейный пулемет и взяли в плен немецкого генерала». Не кого-нибудь, а генерала! Облетит такая молва окопы, и солдаты верят в нее, хотя тот самый соседний полк не наступал и не думал наступать; а, напротив, может быть, уже отошел на другие позиции и захватили в плен вовсе не генерала, а всего-навсего сфрейтора, но — молва облетела окопы, и солдаты поверили, потому что именно в это хотели поверить, потому что от этой веры становится легче, бодрее на душе.

Так случилось и в Соломках. За лесом который час, не смолкая, гремел бой, горизонт на западе был охвачен пожаром, вспыхивали во тьме залпы, мелькали разрывы фугасок; и все это: нарастание боя, резкая в ночи слышимость выстрелов и разрывов, а главное — плохая осведомленность с передовой — создавали ту особую предбоевую атмосферу напряжения, когда каждое сказанное о противнике слово моментально подхватывалось и принималось за истину. Тут-то и распространилась в Соломках неожиданная весть, что где-то на левом фланге гвардейская стрелковая дивизия перешла в контратаку, прорвала немецкую оборону и успешно продвигается на Та-

маровку, что в образовавшийся прорыв на помощь гвардейцам спешно перебрасываются танки... В траншею эту новость принесли бойцы, ходившие за ужином. Известие было радостное и выглядело довольно правдиво, потому что незадолго перед этим все слышали, как по шоссе через развилку прогрохотали танки. Они стояли за стадионом, в логу, а теперь снялись и ушли. Куда? Конечно, на левый фланг, в прорыв, иначе зачем бы командование стало ослаблять оборону, когда бой вот-вот перекинется сюда, в Соломки. Не только солдатам, но и Володину этот довод показался вполне убедительным. Как большинство младших офицеров второго эшелона, он почти ничего не знал о том, как разворачивались события на переднем крае; ему было известно только, что гитлеровцы перешли в наступление, что сражение, которого так долго ждали и к которому так упорно готовились, наконец началось, — это он понял еще в первые минуты бомбежки, — но хотелось знать больше, знать все, и знать в подробностях, и он пытался представить себе и напряженность, и масштабы сражения (Володин охотно отдавался этим размышлениям, потому что они помогали на время забыть о погибших бойцах); он предполагал, что гитлеровцы прорвут первую линию обороны и вплотную подойдут к Соломкам и здесь, в Соломках, будет решаться исход сражения. «Здесь, в Соломках!..» — он верил в это и уже думал только об этом. Возбужденное воображение рисовало ему картину предстоящего боя, и он видел свой взвод в этом бою, видел себя — то бесстрашно ползущим вперед под пулями и осколками, то бросающим гранаты под лязгающие гусеницы танков, то бегущим впереди солдат с поднятым пистолетом в руке — и чувствовал, еще ни дожив до той минуты, ее страшный и счастливо-радостный холодок. Известие о «контрнаступлении гвардейцев» всколыхнуло в нем новые мысли; из своего окна, небольшого, хорошо оборудованного, соединенного ходом сообщения с блиндажом и траншеей, он пристально всматривался в багровое над высотами небо, стараясь по вспышкам и орудию грохоту определить, куда перемещается бой, и, хотя вспышки не отдалялись, а даже будто приближались, полукольцом охватывая Соломки, Володин ни на минуту не сомневался, что гвардейцы контратаковали противника и теперь продвигаются вперед, и только он не может видеть этого продвижения, потому что мешает темная стена леса. Он думал о наступлении, а судьба готовила ему горькую дорогу отступления.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Под навесом лежали ящики с противотанковыми гранатами. Их привезли давно. Впрочем, даже майор Грива, каждый день проходивший мимо этих ящиков и каждый день смотревший на них из окна, теперь вряд ли мог бы сказать, когда были они привезены и почему сложены именно здесь, во дворе штабной избы. Сломалась ли автомашина? Или водитель просто не захотел ехать к позициям рот и только сослался на поломку? Или, что еще вероятнее, Грива сам отдал такое распоряжение, желая «укрепить противотанковую оборону штаба и своего батальонного командного пункта», а потом забыл об этом? Словом, ящики лежали под навесом, никого особенно не тревожа. Вспомнили о них только сегодня, когда от бомбежки запылала штабная изба. Пока огонь не перекинулся и не охватил навес, солдаты охранного отделения перетаскали ящики в траншею. Начальник штаба батальона, по чьему приказу все это делалось, сам руководил работами. Довольный тем, что удалось спасти от гибели сотни гранат, а главное, предотвратить взрыв, который мог бы наделать много беды, начальник штаба спустился в блиндаж к майору Гриве и доложил ему обо всем этом.

— В какую траншею? — переспросил Грива.

— В эту, в нашу...

— Вы с ума сошли?! Пороховой погреб под мой блиндаж?! Вы хотите лишить батальон руководства? В роты гранаты!

Грива был возбужден и зол и кричал на всех, кто заходил к нему в блиндаж. Теперь, когда, казалось, счастье наконец улыбнулось ему — сдаст батальон и будет служить в штабе дивизии, — все снова рушилось. Так некстати, так неожиданно глухо — под вечер! — начался бой, а главное, задержался где-то капитан Горошников. Скоро почь, а его все нет! Это-то и беспокоило, раздражало и злило Гриву. Он понимал, что излишне грубит своему начальнику штаба, что тот, конечно, делал все с добрыми намерениями, но надо же было на ком-то сорвать зло, и Грива не сдерживал себя.

— В роты! — гневно повторил он, сопроводив окрик жестом «вон».

Начальник штаба, близорукий, сутуловатый лейтенант, бывший сельский учитель естествознания, на которого никогда никто в жизни не повышал голоса и который сам ни на кого не кричал, был изумлен; у него даже вспотели очки, он снял их и принялся старательно протирать стекла.

— В роты, лейтенант, вам понятно? В ро-ты!

— Да, понятно.

Но лейтенант не сразу связался с командирами рот. Приказ нужно было написать, так всегда требовал Грива, и потому начальник штаба еще около получаса придумывал формулировку. В конце концов, он остановился на такой: «Штаб батальона считает наш участок танкоопасным направлением и предлагает ротам получить дополнительный боекомплект противотанковых гранат». Все это было смешно и в другое время позабавило бы самого Гриву, привыкшего к пунктуальности и точности (можно просто позвонить и сказать: «Пришлите людей за гранатами!»), но лейтенант был так взволнован и так боялся, чтобы на него снова не накричали, что сочинил этот приказ, носил его на подпись Гриве и только после этого позвонил командирам рот.

Когда Володин, как ему показалось, наконец увидел те вклинившиеся в оборону противника вспышки разрывов, которые, собственно, и должны были подтвердить радовавшее всех известие о контрнаступлении гвардейцев (он увидел залп «катюш» по тыловым коммуникациям немцев), — в этот момент ему передали распоряжение командира роты, что нужно получить дополнительный боекомплект противотанковых гранат и что для этого следует направить к штабу батальона людей. Володин хотел послать с группой солдат младшего сержанта Фролова, но потом решил пойти сам. Он сделал это сначала не вполне осознанно — просто было тягостно на душе и от уже пережитых, и от еще только предстоявших волнений, смутно встававших в воображении, и потому чувствовал, что надо пройтись, развеяться, тем более что командир роты капитан Нашенцев, когда Володин позвонил ему и сказал, что намеревается сам пойти за гранатами, ни слова не возразил, а, напротив, даже одобрил это решение; сначала Володин хотел только развеяться, пройтись до штаба батальона и обратно, но когда вместе с солдатами шел по стадиону, а до развилки было рукой подать, и подумал, что в какие-нибудь пять — десять минут сможет сбегать туда и посмотреть, что и как там, и особенно когда, получив гранаты, осмелился все же выполнить свое желание и, отправив солдат и предупредив их, что только заглянет в сапроту проведать Загрудного, сам пошел на развилку, — радовался, как мальчишка, которому ловко удалось обмануть мать и убежать к ожидавшим его за углом товари-

щам. Он шел прямо посередине дороги, бодрый, сразу скинувший с себя всю усталость дня, и уже не думал ни о «наступавших» гвардейцах, ни о полученных противотанковых гранатах; сейчас было для него одинаково важно и то, что происходило на передовой, как разворачивалось сражение, и то, что случилось на развилке во время бомбежки, смело ли палатку взрывной волной или ее сняли сами регулировщицы? Это второе, чем ближе Володин подходил к развилке, вырастало в главное и заслоняло собой все иные мысли. Он невольно ускорил шаг и под конец почти побежал, совершенно не замечая этого. Он кинулся к тому месту, где стояла палатка; включил карманный фонарик, и тонкий луч света скользнул по траве; тут же нажал кнопку выключателя, спохватившись, что нарушает светомаскировку; но желание сильнее запрета; сперва, нагнувшись, нащупал рукой колышек с отрезанным концом веревки: спешили, не стали развязывать, полоснули ножом, потом наткнулся в темноте на чайник, измятый, с вывернутым носом: взрывом исковеркало, потом снова ладонь уперлась в колышек, и теперь показалось, что веревка вовсе не отрезана, а оторвана; понизу, по-над травой, — будь что будет! — провел лучом фонарика, но ни воронки, ни следа от бомбежки, окопы не завалены, пусты, вокруг дороги тоже нет воронок; сбегал к тем плетням, где днем работали регулировщицы и где он видел в бинокль Людмилу, но опять напрасно, только сломанный черенок от лопаты валялся на бруствере; вернулся к развилке, вышел на дорогу и вытер рукавом пот. Огни пожаров озаряли ночь. Земля вздрагивала под ногами. Лесное эхо, перекликаясь с залпами батарей, создавало впечатление замкнутого грохочущего кольца. Володин стоял на дороге: «Уехала, никогда не встречу больше — ну и что ж!..» Скептически улыбнулся своим мыслям, снова вытер с лица пот, теперь уже платком, и, подумав, что нужно в конце концов быть мужчиной, пошел знакомой тропинкой к позициям взвода. Но потом свернул к оврагу, за которым размещалась санитарная рота. Не только потому, что солдаты могут спросить о Загрудном и им надо что-то ответить, но и сам Володин сознавал, что должен повидать старшего сержанта, сказать несколько теплых слов, да и просто своим приходом порадовать старого бойца и хоть этим загладить перед ним свою неуместную — теперь он был твердо уверен в этом — утреннюю грубость. Но хотя он и шел к Загрудному и старался не думать о развилке, мысли о Людмиле, о сержанте Шишакове, о всех тех встречах с регулировщицей, которым тогда Володин не придавал значе-

ния, но которые сейчас были для него дороги, как память о счастливых минутах, — мысли эти невольно возникали, и он уже не говорил себе всеуспокаивающее и всеоправдывающее: «Ну и что ж!» — этим восклицанием уже нельзя было заставить себя замолчать. Он останавливался и оглядывался на развилку, будто там, в темноте, что-то можно было увидеть; он смотрел в темноту, изредка озарявшуюся вспышками, и вспоминал первую встречу, первое знакомство в слякотное весеннее утро: батальон, растянувшийся по дороге, передние колонны уже в селе, а обозы еще не выехали из леса; палатка, чайник на перекладине, тот самый, что теперь валялся с изогнутым носом, горящие головешки под ним, старческое лицо с торчащими рыжими усами и окрик: «Проходи, проходи, товарищ, здесь нельзя!» — и девушки в плащ-палатках с приподнятыми капюшонами.

«Тянет пехота обмотки по грязи...»

«А вы, голубки, по небу летаете?»

«Людка, взгляни на петлицы!»

«Так я и испугалась, у нас свой — полковник! Хи...»

«Хи-хи...»

«В палатку, сороки!»

Они не послушались; лица их, серые в тени капюшонов, с уголками шилок на лбу, одинаково весело смотрели на лейтенанта, одинаково нежно улыбались ему, и он, заглядевшись — он шел боком, — унал в лужу и вымочил полы шинели.

Этот конфуз; и потом, когда о конфузе было забыто, — по крайней мере, так думал Володин, — и он пришел на развилку и первый раз отдал свою махорку Шишакову; и потом, когда приходил второй, третий, четвертый раз, с заранее придуманными и заученными наизусть рассказами о немцах, которых он будто бы пачками брал в плен, но которых, в сущности, видел всего дважды: в ночной контратаке и днем — прогоняемую группу пленных; и потом, когда уже стал на развилке «своим» человеком и все знали, что он приходит к Людмиле Морозовой, и он сам не скрывал этого и уже рисовал в воображении свое будущее супружеское счастье после войны — чего скрывать, было такое; и потом, когда вдруг оказалось, что Людмила вовсе не забыла о конфузе, и в самый тот момент, когда Володин наконец осмелился сказать ей: «Люблю», смеясь, напомнила о конфузе и еще добавила: «Пе-эхота!» — и это Володин воспринял как оскорбление и ушел, краснея, негодуя и проклиная того однорукого старшего лейтенанта из военкомата, который посоветовал идти в пехотное училище; и потом, когда всю ночь

нил с фельдшером Худяковым, а на следующий день ходил на развилку «мириться»; и последний разговор с Шипаковым, и еще встреча с ним ночью, стрельба, пыльная обочина — все было там, на развилке, куда он теперь, то и дело останавливаясь, бросал долгие взгляды. Он ничего не видел во тьме: ни шоссе, ни развилки, ни леса, куда убегало шоссе, ни черных копен сена по опушке, всегда навевавших ощущение мира и тишины; картины эти сами собой возникали в памяти, и даже такие мелочи: кустик полыни, обожженный костром, наполовину коричневый, наполовину сизый, лохмотья бересты на кольях, черный треугольник с буквами на брезенте — знак воинской части, — даже такие мелочи вспомнились ему.

Он пересек овраг и вышел к опушке, где стояли палатки санитарной роты. Но ту сторону леса горел подожженный снарядами хутор, и на деревьях, на брезентовых стенах палаток, на кузовах санитарных машин, куда грузили раненых, на санитарях, подававших посылки, — на всем лежал злобный багрянец огня; стоны, окрики: «Сюда! Сюда!» — мелькающие огоньки сигарок, ругань и опять стоны, глухие и в то же время отчетливо слышимые в ночи, создавали впечатление панической суеты, лагерь будто кипел розовыми, белыми, черными тенями. Раненых было много: и свои, солонкинские, попавшие под бомбежку, и еще все подходившие и подходившие с передовой. Они лежали на траве, сидели на пнях у входа в главную хирургическую палатку, ожидая своей очереди; время от времени полог палатки приоткрывался, выбрасывая светлый коврик на траву, и по этому коврику два дюжих санитаря на рысях выносили замотанного в бинты солдата. Потом полог надал, и над дверью снова смыкалась тьма. Полог открывался и закрывался только для того, чтобы поглотить очередные посылки или вытолкнуть их из своего желтого чрева. С тыловой стороны был другой вход, маленький, узкий, он открывался редко. Сквозь него выносили оцинкованный таз, наполненный отпиленными ногами, отрезанными кистями рук, изъятymi осколками, окровавленными бинтами и ватой. Володин как раз столкнулся с санитаром, который относил к яме оцинкованный таз. В темноте показалось, что солдат пронес груды саног.

— Санитар! — позвал Володин.

Тот остановился.

— Чево?

— Послушай, санитар, ты не поможешь мне разыскать одного... Что это у тебя в тазу?

— «Что, что», держать тяжело, говори, чего хотел, не то пойду.

Но Володин уже сам увидел, что было в тазу; запах крови, биштов, кожи и даже дегтя — чей-то сапог был густо смазан дегтем, — этот запах, больше воображенный, чем на самом деле существовавший, потому что как раз между санитаром и Володиным сквозил ветерок, нахнул в лицо, вызвав в памяти совсем недавнюю картину бомбежки: воронки, желтая навороченная глина, обвалившаяся траншея, бруствер и вдоль бруствера, крайний в ряду убитых — Губенцов, с оторванной, укороченной и неуклюже приставленной к туловищу ногой...

— Говори, чего тебе?

Санитар грубил, потому что в темноте припал Володина за рядового.

— Мне старшего сержанта...

— Тут у нас и старших, и младших... Куда ранен?

— В живот.

— Посмотри у той али у той палатки, если там нет, значит, отправили.

Володин проводил взглядом санитаря и направился к указанным палаткам. Не то чтобы он ужаснулся, увидев санитаря с тазом, но неприятная мелкая дрожь, рождавшаяся помимо его воли в груди, постепенно произывала все тело; еще на одну черточку расширился перед Володиным круг людских страданий, и он разом обозревал весь этот круг: дома, в тылу, когда еще только мечтал о фронте и вместе с другом Колькой Снегиревым надоедал однорукому старшему лейтенанту из военкомата: «Отправь! Отправь!» — сутками простаивал в длинных хлебных очередях в ряду изможденных стариков и старух; утрами, когда с сумкой за спиной бежал в техникум, с вокзала по булыжной мостовой, уже заорошенной снегом, медленно спускались подводы, они были нагружены окоченевшими трупами; страшный груз накрыт брезентом, но из-под брезента то нога торчит, то свисает рука, синяя, зашнурованная, то волосы, длинные женские волосы; всю осень и зиму на станцию прибывали эшелоны с эвакуированными, маленький городишко не мог вобрать всех; под стенами деревянного вокзала варились в кастрюлях и чугунах поясные ремни, прелые листья; Володин не перебегал улицу, пропускал подводы с окоченевшими трупами, так начинал он познавать круг людских страданий;

потом дорога через Илецк до Москвы, и всюду — соль, соль, соль! — сначала ее котелками, ведрами вносили в вагоны, а потом выносили стаканами, отмеряли ложками, каждый проезжавший состав как цыганский табор, соль меняли на все: на одежду, на деньги, на молоко и даже на хлеб; в товарных тупиках Казанского вокзала, за стрелкой, за штабелем шпал, высыпал Володин соль из своего котелка в женский платок, ничего не взял, только взглянул в большие с подтеками глаза, и снова словно разомкнулись перед ним рамки людского горя; потом Елец, Раздельная, Курск, груды кирпича, обломки крыш, скрученные трамвайные рельсы; ближе к фронту спаленные села, пепелища хуторов, обозы беженцев по лесам; первый раненый, первая капля пролитой крови — все шире радиус круга; сегодняшняя бомбежка, Царев, Бубенцов, лежавшие у бруствера, и этот санитар с тазом, и грохот канонады, ставшей к ночи еще грознее, и весь этот зловеющий багрянец пожара, окрасивший палатки, людей, машины... Не было последовательного воспоминания жизни, если бы даже и хотел, Володин не смог бы выделить ни одну из виденных картин — разом обозревал он весь этот открывшийся ему круг человеческих страданий; он смотрел на него как на нечто неизбежное: «Идет война священная!» — и все же его охватывало чувство страха перед всем тем, что совершалось; мелкая неприятная дрожь растекалась по телу. Он вошел в палатку. В ней всего было занято две койки. На столе, наспех сколоченном из ящиков, горела свеча. Пламя заколебалось и едва не потухло, когда Володин, всматриваясь в раненых, прошел мимо стола. Раненые лежали неподвижно, будто спали; в полумраке палатки лица их казались совершенно безжизненными. У того, что лежал ближе к выходу, свисала на пол рука. Володин решил помочь бойцу, взял его руку, чтобы подсунуть под одеяло, и почувствовал, что она холодна; лицо, грудь, шея тоже были холодными — он умер давно и уже успел остыть. Володин не откачнулся, теперь его уже не испугала смерть — этот умерший тоже входил в тот круг человеческих страданий, — только подумал, почему не убирают его, может быть, просто еще не знают, он похож на спящего. Десятилетним мальчиком видел Володин, как хоронили дядю Дмитрия; дядя болел, у него из уха текла кровь, он болел столько, сколько помнил Володин; в первую германскую войну, когда объявили мобилизацию, дядя насыпал порошу в ухо, он был трусом, так говорили про него, но не это запомнилось — привезли его из больницы во всем белом и положили на стол, с трудом скрестили на груди

холодные, уже остывшие руки и перевязали мочалой; на веревках спускали гроб в яму, веревки скрипели, и комья земли барабанили о крышку; Володин тоже бросил горсть... Мертвым на груди складывают руки — давно, десятилетним мальчиком узнал об этом Володин; теперь ему предстояло исполнить этот извечный ритуал, и он, откинув одеяло, скрестил бойцу на груди руки; с минуту еще смотрел на спокойное бледное лицо умершего — его будут хоронить без гроба, шершавые комья посыплются прямо на грудь; гробов на фронте не делают — это тоже входит в круг человеческих страданий! Необъятен тот круг, нет у него границ. Одеяло задернуто, лица умершего больше не видно. «Надо сообщить, надо кому-то сказать!..» Но Володин еще подошел ко второму, взгляделся: чуть заметно шевелились белые поздри, раненый дышал, значит, был жив. Держась за спинки коек, пятась и приподнимаясь на носках, словно боясь спугнуть и вывести за собой притаившуюся в полумраке палатки смерть, Володин вышел на воздух. Здесь по-прежнему в розовых теньях пожара сповали люди, слышались окрики, стоны; гудели подъезжавшие и отъезжавшие автомашины.

Володин не заметил, как из темноты вынырнул тот самый санитар с тазом; таз был пустой, и он держал его под мышкой.

— Слышь, а? — санитар локтем подтолкнул Володина и кивнул в сторону высот, где гремел бой. — Бьют людей, как мух. Нет нашему брату спасения, э-эх... — перехватил таз поудобнее и скрылся в хирургической палатке.

Сколько в своей жизни хороших и умных фраз пропустил Володин мимо ушей; не обратил внимания и на эту, но она все же зацепилась, застряла и легла своей энтысячной извилиной в мозг; уже через минуту Володин повторил ее: «Бьют, как мух!» — прислушиваясь к странному звучанию; эта обыкновенная, простая фраза теперь показалась ему сложным философским изречением, и он старался постичь смысл; фраза как бы позволила ему из отдаления годов взглянуть на свершавшиеся события...

Он снял гимнастерку, белый халат надел прямо на рубашку, но все равно было жарко, пот струйками скатывался по спине к поясному ремню; широкие, узкие, бесконечной лентой текли из рук его бинты, обкручивая человеческие тела; давно уже не приходилось так напряженно работать, раненые все подходили,

подходили, угрюмые, молчаливые, злые, и никто не задавал им вопроса: «Как там?» — всем было понятно, что там тяжело, очень тяжело, ад, пекло; фельдшер Худяков читал это в глазах подходивших оттуда, из пекла; он почти не разгибал спину и только приподнимал голову, чтобы выкрикнуть: «Следующий!» Он принимал легкораненых в той же палатке, где хирург рылся в животах, вылавливая, как палимов, осколки; «дзинь, дзинь» — падали осколки на дно оцинкованного таза. Эти звуки заставляли вздрагивать Худякова; чтобы успокоить нервы, он доставал из кармана флакон с разведенным спиртом, отворачивался и отпивал глоток; флакон уже был на две трети опустошен, когда его отобрали у фельдшера. Но папиросы никто не отберет, курить никто не запретит. Он вышел из палатки, белый, с засученными рукавами, с потеками и брызгами крови на халате, постучал папиросой о нготь, продул мундштук и закурил, наслаждаясь мягкостью дыма. Он был весь поглощен своими думами; ни багряное небо, ни гул артиллерийской стрельбы, ни суeta санитаров, ни урчание машины — ничто не интересовало его; выкурить папиросу на свежем воздухе и не насладиться вкусом дыма, не ощутить всю сладость минуты — просто невысказано; и еще — вспомнить о том, как мужественно держалась девчонка с развилки, у которой осколком оторвало руку, а девчонка — удивительно милое создание, смотришь — и года свои забываешь; войдешь в палатку, снова потекут телеграфные ленты биштов, но — это будет потом, когда войдешь в палатку.

Чья-то рука легла на плечо:

— Добрый вечер!

— Лейтенант, дружище, ты как здесь?

— Раненый у вас умер, вон в той, — Володин кивнул в сторону палатки, в которой видел умершего бойца.

— Все может быть. Там лежат безнадежные, которых нельзя транспортировать. Ты как сюда, а? Вижу: цел, невредим. А-а, постой, погоди, не к ней ли?

— К кому?

— Одну тут привозили с развилки, волосенки светлые, ей-ей...

— Фамилия?

— Не помню. Да ты сам можешь узнать, тут сержант их лежит. Тоже, — Худяков покачал головой, — в живот, безнадежный. Вон в той, кажется, палатке... Куда ты? Погоди, успеешь!..

— Сейчас вернусь.

...Несмотря на то что Шишаков лежал как раз напротив стола, на котором горела сальная свеча, Володин не сразу узнал старого сержанта. Тот похудел, осунулся за эти часы; на лице его теперь ясно выделялись скулы, и даже рыжие усы, всегда по-фельдфебельски бодро торчавшие из-под поздрей, казалось, сникли, потеряли свою прежнюю упругость. Изменился и голос. На торопливые вопросы Володина он отвечал медленно, будто напрягал память: нет, Людмила Морозова не ранена, она уехала на хутор Журавлиный; туда все уехали, там развилка и организуется новый пост...

— Значит, уехала?

— Да, уехала. А меня в живот... Но фельдшер сказал, выживу. Фельдшер говорит, мне повезло. Не обедал, говорит, ты, кишки были пусты, вот осколок и прошел между ними. Только толстую задел. А толстая, говорит, не самая главная, так что выживу.— Сержант помолчал, пересиливая боль, и поманил Володина наклониться пониже: — Слышь, лейтенант, а я как раз перед этим по-большому сходил, хе-хе,— хотел засмеяться, но только страдальчески обнажил желтые, прокуренные зубы.— Как раз перед этим, ровно знал, хе-хе...

— Все обойдется, все будет хорошо.

Ничего более утешительного Володин не мог придумать и повторял эти слова машинально, лишь бы не молчать; и улыбался, хотя ему вовсе не хотелось улыбаться — он знал, что старик Шишаков не выживет; все, кто лежал в этой палатке, — все были обречены.

С лесной поляны били тяжелые орудия. И сальная свеча на столе, и брезентовая крыша палатки вздрагивали от сильных толчков. Толчки повторялись через равные промежутки, было похоже, что кто-то огромным молотом разбивал землю, и те секунды, что проходили между ударами, как раз требовались для нового взмаха. Володин не заметил, когда именно открыла огонь батарея, — когда он еще был во дворе и разговаривал с Худяковым или раньше, когда пересекал овраг, но то, что уже соломкинская батарея включилась в бой, настораживало внимание. Вероятно, наши отошли, а немцы продвинулись настолько, что можно по ним стрелять даже отсюда, из Соломок! Володин все еще смотрел в бледное, заострившееся лицо старого сержанта и, улыбаясь, повторял: «Все обойдется! Все будет хорошо!» (эти слова теперь произносились не только для Шишакова, ими Володин отвечал и на свои собственные мысли: увидит ли Людмилу еще когда-нибудь? как обернется сражение? останется ли сам он, Володин, жив или вот так же,

пожелтевший и худой, будет лежать в палатке и верить в свое выздоровление, а по ту сторону брезентовой стены, может быть, тот же Худяков в белом халате с засученными рукавами скажет Пашенцеву: «Безнадежный!..»), — он все еще всматривался в синие жилки морщин на старческом лице сержанта и, улыбаясь, произносил: «Все будет хорошо!» — но уже знакомое ощущение близости боя охватывало его. Главное — там, в окопах, где бушуют разрывы и решается судьба сражения; главное — там, и туда нужно спешить... Раненый, к которому Володин сидел спиной, все время бредил, выкрикивал команды, кого-то проклинал; за стеной палатки зашуршали шаги — прошли санитары; один из них бодро насвистывал «Пусть ярость благородная...» Мелодия оборвалась, слышались только глухие удары пушек, но эти удары уже воспринимались как маршевый ритм мелодии: «Идет война народная...» По булыжной мостовой, по той памятной булыжной мостовой, запорошенной белым снегом, шли серые колонны к теплушкам, и четкий стук тысячи сапог потрясал улицу; тысячи голосов сурово и торжественно выводили: «...священ-на-я война!» — в такт шагам; весь техникум высыпал на тротуар; до самого вокзала шел Володин за колонной, а потом стоял и смотрел, пока не отъехал эшелон; тогда, в тот хмурый декабрьский день, он впервые не по книгам узнал, что такое Родина; песня пробудила в нем еще ни разу не испытанное чувство большого долга. Володин торопил минуту, когда сможет выполнить долг. Иногда казалось, эта минута уже наступала: первый раз — когда ощутил в ладонях, совсем нежных, только что державших ручку и карандаш, тяжелое и холодное ложе винтовки; потом — первый выстрел; потом — настоящий окоп, настоящие пули, сбившие траву у окопа, настоящие мины, которые шипели над головой: «ищу-ищу-ищу!» — и первый грохот разорвавшегося тяжелого снаряда; потом — ночной бой, ночная контратака, в которой Володин ничего не видел и ничего не понял, только кричал «ура» и никого не встретил и не рассек очередь из автомата; потом... И сальная свеча на столе, и брезентовая крыша палатки все так же вздрагивали от толчков; все тем же размеренным ритмом били тяжелые орудия с лесной поляны; Шишаков что-то говорил, и Володин никак не мог понять, о чем он говорил.

— Медальоны? Какие медальоны?

— Медальоны смерти...

Маленькие железные коробочки, похожие на крохотные портсигары, — их выдавали каждому на фронте; они непромокаемы, в них вкладывают бумажки с фамилией и домашним



адресом бойца, хранит их каждый по-своему — кто в брючном карманчике, кто пришивает к гимнастерке, кто вешает на грудь, как медальон, — может быть, потому и называли их «медальонами»? «Убило тебя, к примеру, а ты в грязи или в воде, и документы промокли или совсем нет при тебе никаких документов — по медальону опознают, кто ты такой есть, и напишут родным. Медальон на случай смерти — незаменимая вещь!..» — так пояснял Шишакову ротный старшина; так потом и Шишаков объяснял своим регулировщицам. Но девушки совсем не собирались умирать и наотрез отказались от медальонов. Шишаков выстраивал отделение, приказывал, вызывал по списку на беседу, давал наряды вне очереди и под конец пожаловался старшине, но тот только развел руками: «Девчонки, что с них!..» Старый сержант держал медальоны при себе. Зашил в гимнастерку, во внутренний карман. Сейчас Володин должен был взять гимнастерку, которая лежала у изголовья, распороть шов и достать медальоны. Многих уже просил об этом Шишаков, но никто и слушать его не желал, ни санитары, ни фельдшер, а железные коробочки сержант обязательно хотел вернуть в роту, потому что — казенное имущество, и потом — как без медальонов будут регулировщицы, ведь они остаются здесь, на фронте? Володин должен был взять медальоны и непременно переслать их старшине на хутор Журавлиный.

— Старшине Харитошину. Низенький, лысый...

— Хорошо, хорошо.

— Харитошину. Лысый...

— Хорошо. Прощай, сержант. Выздоровливай.

Володин вышел; горсть медальонов лежала в кармане. Они звенели, как монеты. Володин не выбросил их, хотя вначале и намеревался сделать это; неуловимые нити тянулись от медальонов к живым людям, к тем девушкам-регулировщицам, теперь разбившим свою пятнистую, цвета летней стени палатку где-то на новой развилке дорог, у хутора Журавлиного, — эти нити чувствовал Володин, будто держал в руках; бросить медальон — оборвется нить, оборвется жизнь; он никогда не был суеверным, но тут вдруг понял, почему старый сержант так бережно хранил эти коробочки с адресами и так заботился, чтобы они попали к старшине — как его? — к низенькому лысому старшине Харитошину; и еще понял Володин, что и сам он, если не сможет передать старшине, что всего вернее, — никуда не выбросит их из своей полевой сумки.

В одном из медальонов был записан домашний адрес Людмилы Морозовой.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Пока ординарец завешивал окна и заправлял походную, сделанную из сплюснутой орудийной гильзы лампу, подполковник Табола стоял у порога, устало, расслабленно опустив руки. Он только что вернулся с самой дальней, четвертой батареи и был недоволен. Вдруг обнаружилось, что огневые четвертая заняла очень неудобные, в пизине, и подход к развилке остался неприкрытым. А развилку Табола считал главным, узловым пунктом обороны. Пришлось срочно выбирать новую огневую. В темноте ходили по склону косогора, побывали на обочине шоссе, потом пришли на развилку; кто-то из офицеров четвертой наткнулся на щели, выкопанные регулировщицами, и предложил поставить орудия рядом с этими щелями, доказывая, что это почти готовая огневая; кто-то настаивал, что лучше всего орудия расположить по обочинам, потому что немецкие танки обязательно пойдут по шоссе, и тут-то их и можно будет встретить крепким двухсторонним огнем; предлагали еще несколько разных вариантов, но все они не годились, потому что как раз к шоссе-то и нельзя было пропускать танки противника. Снова бродили по косогору, подминая сапогами сухую траву и всматриваясь в каждую неровность. Над высотами полыхало зарево. Розовые, оранжевые, багровые полосы стелились по земле, и даль скрадывалась и утопала в этом переливе темных и светлых красок. Комбат четвертой громко ругался; мысленно чертыхался и Табола... Об этой непредвиденной и утомительной рекогносцировке и думал сейчас он, лениво и безучастно следя за движениями копошившегося возле окон ординарца. За окнами, в ночи, на пологом склоне косогора солдаты четвертой батареи рыли огневую. Какова будет огневая (одно несомненно, она лучше прежней), успеют ли батарейцы закончить к рассвету (грунт твердый, местами даже каменистый), — Табола жалел, что не остался на батарее, а надо было остаться, побыть там хоть немного и уточнить еще кое-какие детали и возможности.

Над столом вспыхнул огонек, и желтый мерцающий свет разлился по комнате.

— Никанор Ильич!

— Слушаю, товарищ подполковник, — отозвался ординарец.

— Сходи-ка за ужином.

Когда Никанор Ильич с полными котелками в руках вернулся в избу, подполковник спал. Громкий храп утомленного

человека раздавался в комнате. Никанор Ильич поставил котелки на стол и укутал их шинелью, чтобы не остыли; затем снял с подполковника сапоги и расстегнул на нем поясной ремень, с минуту еще стоял у кровати, покачивая головой и полушепотом произнося: «Заснул-таки! Заснул-таки!» — с тем ласковым и сокрушенным оттенком, какой можно еще услышать в глухих деревушках Поволжья; потом сам лег на скамью и вытянул ноги, а еще через минуту тоже храпел, как и подполковник, низким басовым тоном.

На крыльце ходил часовой, перебирал ногами скрипучие половицы.

Неплотно прикрытая дверь вздрагивала и поскрипывала от орудийной стрельбы, мелко дребезжали стекла в разбитых рамах, протяжный гул канонады передавался по земле. Ночь дышала тревожным предчувствием больших событий.

Подполковник Табола набивал трубку, он делал это молча, сосредоточенно, так же молча прикурил, встал из-за стола и принялся ходить взад-вперед по комнате; пренебрежительная усмешка, с какою он разговаривал даже с командующим фронтом — Грива запомнил это, — вспыхнула на лице подполковника и уже не сходила с уст до самого конца разговора.

Грива сидел за столом. Он был возбужден, дышал тяжело и часто; маленькие, утонувшие в пухлых щеках глаза его тревожно поблескивали на бледном потном лице; когда он поднимал руку, пламя над гильзой отклонялось, дрожало и нечеткая крупная тень прыгала на стене. Он только что говорил о боевой обстановке, какая складывалась на передовой, и теперь с раздражением смотрел на молчаливо шагавшего по комнате подполковника. Равнодушие артиллерийского командира казалось странным. Но может быть, он вовсе не равнодушен, а, напротив, взволнован и оттого молчит? Может быть, ему не все ясно, потому что рассказано было неубедительно — в спешке все может быть! — и надо повторить все сначала? Догадка показалась верной, и Грива принялся снова рассказывать обстановку, теперь обстоятельно, со всеми нужными и ненужными подробностями, начав с того, что батальон понес большие потери от бомбежки, что многие траншеи хотя и восстановлены уже, но были разрушены, что немцы, черт им в душу, напрасно затеяли ночной бой и, конечно, поплатятся за эту свою оплошность; никто никогда в истории войн не начинал крупного сражения под вечер — Грива хорошо знал

историю! — конечно, гитлеровцы поплатятся, но, пока это еще будет, от батальона и, разумеется, от артиллеристов тоже останется одно воспоминание.

— Новую Горянку наши оставили, Герцовку оставили, Бутово оставили, из Королевского леса тоже отступили!..

После каждой паузы Грива выжидательно поднимал брови; Табола молчал.

— Полнейшая неразбериха! Никто толком ничего не знает, что происходит на передовой! Где наши, где немцы?.. А бой, прислушайтесь к канонаде, — майор при этом слегка наклонял голову и поднимал палец, — прислушайтесь, бой уже переместился черт знает куда, уже, извините, за нашей спиной громыхает!

Табола молчал.

— И в такой напряженный момент нас оголяют! Снимают приданную нам танковую роту и перебрасывают на левый фланг!

Табола молчал.

— Снимают и перебрасывают, а мы с чем остаемся? Никакого подвижного прикрытия!..

Гриве казалось, что он говорил спокойно, ровно, но весь его повторный рассказ был более возбужденным, чем первый. Получалось так: то он будто на кого-то жаловался, кого-то упрекал в неразберихе, но одновременно и предупреждал, повышая голос, что эта неразбериха может привести к довольно плачевным последствиям; то возмущался чьими-то неумными распоряжениями, упоминал о каком-то капитане Горошникове, которого будто бы давно уже следовало отдать под трибунал, а заодно с ним и еще кого-то или из штаба полка, или из штаба дивизии; голос Гривы звучал торжествующе, дескать, смотрите, как он критикует высшие инстанции и ничего не страшится; то вдруг проскальзывала в словах нехорошая наническая нотка, и тогда майор, краснея, торопливо вставлял оговорку: «Надеюсь, подполковник поймет меня правильно! Я пришел вовсе не из трусости, в конце концов, как пехотный командир, я и сам вполне мог бы решить, как действовать, — ведь по уставу артиллерия придается пехоте, а не пехота артиллерии! — но просто не захотел злоупотреблять некоторым своим положением и пришел посоветоваться, как равный!..»

Но все, о чем говорил толстый, разгоряченный и потный командир стрелкового батальона, — все это было хорошо известно Табола. Он знал, что крупные танковые колонны немцев обрушились на центр и левый фланг Шестой гвардейской

армии, что местами им удалось потеснить наши оборонявшиеся части и захватить несколько деревень. Обстановка ясная, о какой неразберихе твердит майор? Бой не смолкает? Тоже понятно, немцы стараются развить успех. Так поступил бы каждый, кто хоть сколько-нибудь смыслит в военном искусстве. Другое дело, удастся ли им развить успех, — это вопрос. А если уж говорить, куда за последние часы переместился бой, то Табола тоже знает, он только что ходил к развилке выбирать новую огневую для четвертой батареи и отлично видел в ночи и вспышки разрывов, и вспышки выстрелов — орудия бьют справа и слева от Соломок, но никак не за спиной!.. Табола слушал, не перебивал; или табак был сырой, или подполковник, волнуясь, забывал вовремя раскурить — трубка затухала, и он то и дело щелкал трофеей немецкой зажигалкой. Его беспокоило возбужденное состояние майора. «И это командир перед боем!» — негодовал Табола. Он видел майора Гриву самоуверенным и гордым, когда в батальонной штабной избе в день прибытия полка в Соломки вместе уточняли огневые для батарей; видел и удивлялся, как слетели с майора самоуверенность и гордость и обнажилось раболепие, когда командующий фронтом осматривал оборонительные сооружения; а сейчас в пылкой речи майора явно ощущалась растерянность. «Ко всему прочему он еще, наверное, и трус, — думал Табола о майоре. — К чему нагонять весь этот страх и все мазать черной краской? Страхуется? Мол, если придется отводить батальон, то прошу учесть, не по своей вине, а так диктует обстановка?..» Табола готовился резко ответить майору и ждал лишь, чтобы тот полностью высказался, но ответить не пришлось — перед избой, на площади, гулко разорвался снаряд. Со стен и потолка посыпалась штукатурка. Это случилось так неожиданно, что и подполковник Табола, и майор Грива — оба вздрогнули и оглянулись на окна; Грива замолчал на полуслове, Табола остановился посреди комнаты; один и тот же вопрос: «Что там?» — одинаково отразился на их лицах. Офицеры были чем-то похожи друг на друга в эту секунду. Но в той неуклюжей неподвижности, в какой застыли они, глядя на окна, в той внешне схожей тревожной настороженности, с какой прислушивались они к теперь звонкой после разрыва тишине, было и что-то рознившееся этих людей — они думали о разном, по-разному задали себе вопрос: «Что там?» «На площади разорвался снаряд, значит, немцы подошли настолько, что могут из орудий обстреливать деревню, значит, с часу на час нужно ждать боя, а что с четвертой батареей, передвинутой к развилке? Успеют

ли батарейцы закончить новую огневую?..» — Табола смотрел на окно, но взгляд его мысленно тянулся дальше, к развилке, туда, где в ночи, на косогоре, в красных отсветах пожара работали солдаты четвертой батареи, долбили ломами и лопатами твердую, слежалую землю. Для майора Гривы «Что там?» означало совершенно другое: если немцы подтянули орудия и начали обстрел, то в избе оставаться нельзя, одно прямое попадание — и все кончено! Опасливо смотрел он на вздрагивавшую от орудийной пальбы стену и думал о своем пятинакатном блиндаже... Но еще не спало напряжение от первого взрыва, как за окном снова ухнул снаряд, теперь будто по-дальше и правее; затем грохнуло на задах: в огороде; затем рвануло у самого крыльца. Дверь с силой захлопнулась, лампа погасла, и в темноте стало слышно, как рушилась печь, сыпались кирпичи; в лицо пахнуло пылью и сухой известью.

Табола зажигалкой осветил комнату. Все вокруг было как в тумане. Огонек горел слабо, мигал, грозясь потухнуть; сквозь оседавшую известковую пыль заметно проступали темные контуры стола и над столом — темная съежившаяся фигура майора. Майор сидел с зажмуренными глазами. В сенцах кто-то барахтался, кто-то настойчиво повторял: «Под руки, под руки, под мышки!..» Табола зажег лампу. В комнату внесли раненого пехотинца и положили на пол. Пехотинец хрипел и рвал на груди гимнастерку; внесшие его суетились вокруг, робко хватая и придерживая руки раненого.

— Куда его?

— В горло.

— Как пожом...

— Перевязали? — спросил Табола, наклоняясь над раненым и присвечивая лампой.

— Не дает, товарищ подполковник, срывает повязку. В горло его.

— За носилками. Мигом!

Стоявший ближе к двери солдат кинулся в сенцы, громыхая сапогами.

Пока бегали за носилками, Табола осмотрел рану. Из раны со свистом вырывался воздух, кровь пузырилась и стекала на пол. Пехотинца давило удушье, он тянулся руками к шее, будто хотел сорвать перехватившую горло веревку, когда затихал, жадно смотрел на всех налитыми смертной тоской глазами. Его товарищ, с которым он пришел сюда, сопровождая майора Гриву, совсем растерявшийся, с бледным, как стенка, лицом, по-бабьи всплескивал руками, кряхтел и виноватым голосом

рассказывал, обращаясь то к одному солдату, то к другому, как все произошло:

— Стояли мы на крыльце. Рядом стояли. Ка-ак шарахнет! Смотрю, Иван за горло руками и повалился, а меня ничего. А ведь рядом стояли. Смотри-ка ты, его задело, а меня ничего, цел. И руки, и ноги — цел!..

Раненого вынесли, через минуту в комнате уже никого не было. Не было и майора Гривы. Только на столе лежал раскрытый и забытый майором планшет с картой. Табола приоткрыл дверь и спросил у часового, не видал ли тот, куда ушел майор. Часовой видел: оказывается, когда все толпились вокруг раненого пехотинца, майор вышел из избы, огляделся и торопливо побежал вдоль стены к воротам... «Улизнул! — брезгливо подумал Табола. — В блиндаж ушел, побоялся в избе остаться, как же, изба — какое укрытие?» Но в старой деревянной избе и в самом деле было жутко. Немцы обстреливали деревню неприцельным беглым огнем. Взрывы гремели то близко, на площади, то подальше, на стадионе, то совсем где-то далеко, у оврага, и оттуда, из-за оврага, с лесной поляны, отвечала немцам наша тяжелая гаубичная батарея.

Вскоре от майора Гривы пришел солдат за планшетом. Хотя солдат-посыльный, чувствуя неловкость, и без того робел перед незнакомым и строгим подполковником и старался делать все как положено, Табола все же резко заметил:

— Устав забыл!

Замечание относилось не столько к солдатской неловкости — в другое время Табола не обратил бы на это внимания, — сколько к тому факту, что солдат был именно из батальона Гривы. «Командир — трус и подчиненные — размазни!» Табола никак не мог примириться с мыслью, что завтра ему придется совместно, плечо в плечо, вести бой с таким пехотным командиром, как майор Грива. Но изменить уже ничего нельзя, звонить куда-либо — это было не в его характере, да и кто сейчас, перед боем, стал бы разбираться, можно ли майора Гриву оставлять «на батальоне» или нельзя, и доказать трудно: трусость — не подложный документ, который можно поддержать в руках, труса, как и вора, нужно ловить с поличным и обязательно при свидетелях. Возникали и утешительные мысли: может быть, все не так, он просто мало знает майора и потому преувеличивает; но в эти утешения как-то не верилось, будто чувствовал он, что как раз завтра и предстояло ему «поймать» майора с «поличным» и быть свидетелем его ужасной и глупой смерти.

Табола раскурил трубку и прошелся по комнате, успокаиваясь. Канонада не смолкала. Стены вздрагивали, и стекла дребезжали, казалось, еще сильнее и звонче, с потолка осыпалась штукатурка. Снова мысли подполковника стала занимать четвертая батарея, и он решил еще раз сходить туда и посмотреть, как расчеты оборудовали свои огневые.

Вышел из избы. На крыльце часовой пререкался с двумя солдатами-пехотинцами.

— Эка проснулись! — говорил часовой. — Его давным-давно унесли.

— Майор сказал, здесь еще...

— Эка ваш майор!

— Куда унесли-то?

— Известно, в санроту, куда еще. Ну довольно, довольно, хватит! — строго добавил часовой, заметив вышедшего подполковника.

Солдаты-пехотинцы отошли от крыльца и остановились, оглядывая зарево.

— Ну что, Бобенко, надо сходить, а то как докладывать майору будем?

— А может?.. Чего ходить?.. Видал, как по селу бьет...

Табола быстрым шагом обогнал посторонившихся и козырнувших ему солдат.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Около полуночи Володин заметил странное оживление на гречишном поле. Похоже было, что там сконилось много людей и машин. Посланный туда для выяснения младший сержант Фролов вскоре вернулся и доложил, что это отступает какой-то пехотный батальон и несколько приданных ему батарей, что им приказано отойти за Соломки и что впереди уже никого наших нет. Гречишное поле было заминировано, оставлен только небольшой проход возле березового колка, в этот-то проход и пропускали теперь минеры отходивший батальон. Долго, почти до самого рассвета, гудели машины, долго тянулась редкая, то обрывавшаяся, то вновь смыкавшаяся цепочка усталых, утомленных солдат; темными сгорбленными силуэтами двигались они по гребню, спускались в лог и снова появлялись, но уже на противоположной стороне и шли дальше, медленно растворяясь в темноте ночи. Володин хорошо видел их, пока солдаты шли по гребню. Он провожал их тоскливым взглядом,

не испытывая ни злости, ни досады на этих попуру шагавших людей. С холодным равнодушием думал он о том, что нет теперь впереди ни укрепленной оборонительной линии, которая еще вчера казалась несокрушимой, ни заслонов, ни прикрытий, нет ни одного нашего солдата, а есть враг, есть ничейная земля между двумя линиями окопов, и эта земля начинается сразу же за бруствером, стоит только протянуть руку.

Были минуты, когда Володин страстно желал, чтобы бой разгорелся здесь, на подступах к Соломкам. Но сейчас, когда то, что он только предполагал, становилось явью, когда противник действительно подкатился под самые Соломки и с часу на час мог атаковать позиции, ни в мыслях, ни в чувствах уже не было прежней решимости; думая о предстоящем бое, он прежде всего думал о том, сколько в Соломках и где размещены пушки, минометы, пулеметы (он восстанавливал в памяти все, что знал, видел раньше и мог сейчас припомнить); он думал о противотанковой батарее в березовом колке — хорошо, что она стоит так недалеко, что не снялась и не снимется, что там наверняка отличные ребята и в трудную минуту всегда поддержат огоньком; хорошо, что в логу минометы... Он не заметил, как задремал, но и в дремоте продолжал думать о бое. Он не слышал, как по ходу сообщения к нему в окоп пришел капитан Пашенцев, как капитан разговаривал с хитрым и смекалистым, бывшим иртышским лодочником, связистом Ухиным; Володин проснулся от резкой, звенящей в ушах тишины. Пока протирал глаза, соображая спросонья, что к чему, пока с удивлением смотрел на прямую спину капитана Пашенцева, узнавая и не узнавая своего ротного командира, в синей рассветной тишине родился нецелявый, стремительно нарастающий звук, и почти в то же мгновение позади окна с оглушительным грохотом разорвался тяжелый фугасный снаряд. Потом белое пламя разрыва взметнулось впереди, будто над самым бруствером, и уже вся передовая загудела от взрывов. Снаряды ложились густо и рвались с таким падламывающим душу треском, что Володин, как ни старался держаться смело, невольно прижимался к стенке; он неотрывно следил за Пашенцевым (капитан не поворачивался, и Володин по-прежнему видел лишь его прямую спину), и ему казалось, что капитан совсем не обращает внимания на огонь; лишь когда разрывы ложились близко от окопа, Пашенцев наклонял голову, но тут же снова приставлял к глазам бинокль и смотрел вперед.

Володин сделал усилие и подошел к капитану.

— Что, страшно? — прокричал капитан.

— Страшно!

— Это хорошо!..

Володину показалось странным — что же хорошего в том, что ему страшно? Может быть, «хорошо» относится к чему-то другому, чего он, Володин, не знает, но что знает и видит Пашенцев? Володин вынул из чехла бинокль и так же, как и Пашенцев, посмотрел вперед. Над полем густо висела пыль, и он ничего не увидел, кроме этой серой, все заслонившей собой пыли.

Обстрел с каждой минутой усиливался, с диким воем сирен обрушились на позиции «юнкеры», и Пашенцев и Володин вынуждены были укрыться в щель. Казалось, и справа, и слева, и впереди, и позади командного пункта до самого шоссе и дальше до развилки все было охвачено огнем, кипело и клочотало.

Хотя Володин, как и вчера, пока всего-навсего отсиживался в щели и каждую секунду, как и вчера, мог погибнуть страшившей его нелепой смертью; хотя все было, как и вчера: та же щель, те же сыпучие серые стены, тот же удушливый, горячий, перемешанный с пылью запах тола и крови, тот же стелившийся по земле и заставляющий цепенеть гул и грохот, но сегодня — это уже был бой, и не где-то там, за лесом, как вчера, а здесь, рядом, вокруг, и он, Володин, находился в центре этого боя. Из всего того, что раньше слышал от очевидцев, что знал сам по тем небольшим боям, в которых ему приходилось участвовать, Володин сейчас отбирал нужное и мысленно переносил в обстановку разгоревшегося под Соломками сражения. Он ясно представлял себе, что под прикрытием артиллерийского огня немцы сосредоточиваются для атаки. Нужно быть наготове, нужно смотреть вперед, чтобы не быть застигнутым врасплох! Его удивляло и тревожило спокойствие и хладнокровие Пашенцева, который, как казалось Володину, и не собирался выходить на КП. Порой Володину представлялось, что он уже слышит рокот подползающих танков. Тогда он смотрел на запыленное лицо капитана и старался угадать, слышит ли Пашенцев то, что слышит он, Володин? Но уже снова — ни рокота, ни совершенно отчетливо доносившегося лязга гусениц, а один сплошной гул канонады.

Но то, о чем забывал возбужденный Володин, хорошо знал и помнил Пашенцев: пока идет обстрел, атаки не будет, а слишком близко подойти к траншеям немцы не смогут, потому что впереди заминированное гречишное поле, — за это он был

спокоен; его волновало другое: двадцать минут с неослабевающей силой длится артиллерийский налет, а это значит, что либо у немцев недостаточно сил для мощного удара, и потому они стремятся орудийным огнем подавить оборону, либо выбрали этот участок для главного удара и потому хотят использовать все средства, чтобы одним броском прорваться к шоссе. Пашенцев колебался, что правильнее, и брал второе, худшее, и сейчас же мысли его устремлялись к своим позициям, к той длинной и извилистой, с боковыми щелями и запасными окопами траншее, которую он не мог сейчас видеть, но которую чувствовал, как собственную руку, как часть себя, и по тем еле уловимым в общем грохоте боя приметам старался определить, какие потери несет рота, как она встретит атакующего противника; он уже теперь начинал понимать, что едва ли удастся остановить лавину вражеских танков, что их придется пропускать и отсекал пехоту; он думал об этом с уверенностью — и потому, что сами артиллеристы (командир полка Табола) предложили такой план боя, как тогда на Барвенковском заросший бородой капитан, и еще потому, что рота прошла «обкатку», и каждый солдат знал, что ему нужно делать, если к траншее прорвутся танки, знал каждый командир отделения, что нужно делать, знали командиры взводов, а Володин, которого Пашенцев считал малоопытным и который перед самым боем, вчера, неожиданно лишился своего надежного помощника — старшего сержанта Загрудного, был рядом и держался, что особенно радовало капитана, стойко. Вполне устраивал Пашенцева и окоп с ходами сообщения к траншее и блиндажу, потому что он находился как раз в центре обороны роты и с него легко можно было передавать команды по цепи и руководить флангами. Потому-то и был спокоен Пашенцев, и с присущим ему хладнокровием терпеливо пережидал налет. Но и Володин, как ни волновался, как ни опасался быть застигнутым врасплох атакующим противником, не решался выйти из щели и взглянуть вперед; каждый раз, едва порывался встать, снаряды будто нарочно ухали так близко и осколки с таким шквальным порывом впивались в стенки, что не хватало храбрости не только подняться, но даже пошевелиться.

Вся рота, весь батальон, вся потонувшая в пыли и желтом толовом дыму соломкинская оборона притаилась, пережидала налет.

Но то, что соломкинцам еще только предстояло увидеть — черный ромб танков, — хорошо видели с командного пункта

дивизии. Этот огромный черный ромб будто откололся от леса и двинулся к гречишному полю.

— Танки!..

— Танки!..

— Танки!..

Надрывались у телефонов связисты.

Танки с каждой минутой набирали скорость, но издали казалось, что они ползли медленно, грузно переваливаясь с пригорка на пригорок. Впереди колонны, подпрыгивая как мячик, катился маленький легкий танк. Он словно разведывал дорогу: стоило ему чуть отклониться вправо или влево, как сейчас же вся ромбовая колонна меняла курс.

Когда Володин и Пашенцев вышли из щели и поднялись на КП, маленький легкий танк был уже недалеко от гречишного поля. Сначала они и увидели только этот нырявший в пыли маленький танк, и Пашенцев, предполагавший худшее и уже успевший свыкнуться со своей мыслью и теперь вдруг увидевший совсем другое, незначительное, пустяковос в сравнении с тем, что ожидал, — Пашенцев даже весело присвистнул; но уже через секунду сквозь еще редкие в оседавшей пыли просветы показались тяжелые танки, а еще через секунду отчетливо стала видна вся громыхавшая сотнями гусениц наступающая колонна. Пашенцев снова присвистнул, но уже без той веселой нотки, как минуту назад; теперь, как и Володин, он тоже во все глаза смотрел на мчавшуюся по пшеничной осыни колонну, но в то время как Володин, впервые наблюдавший танковую атаку, поражался грандиозностью зрелища, Пашенцев, который сразу заметил и необычное, ромбовое построение, и необычную для атаки стройность и слаженность, старался понять замысел противника. В центре ромба двигались легкие танки, самоходные пушки и гусеничные тягачи с автоматчиками-десантниками, а по бокам — тяжелые танки. Они как бы прикрывали своей броней всю громадную железную лавину. Для Пашенцева это было не просто необычным, как для новичка Володина; Пашенцев имел вполне определенное представление о танковых атаках: танки движутся рассыпным строем и так же врассыпную бежит за ними пехота, — именно к отражению такой атаки он и готовился и потому чувствовал себя уверенно; но сейчас все было не так, как в хорошо знакомых ему предыдущих боях, и его охватывало беспокойство; он знал, что и солдаты, глядя сейчас на этот наползавший черный ромб, чувствуют ту же растерянность, что и он, и ждут от него нужную команду; он искал эту «нужную

команду» и не находил и еще больше терялся, понимая, что его нерешительность может оказаться губительной для роты. Пашенцев даже изменился в лице, побледнел, и, если бы Володин, для которого сейчас ничего не существовало, кроме него самого и идущих на него танков, который ничего не слышал и ничего не воспринимал, кроме одной клокотавшей в нем мысли: «Разбить, разбить! Уничтожить...» — если бы Володин хоть на мгновение отвлекся от приковавшей все его внимание скрежещущей и рычащей громады, он почувствовал бы, как мелко вздрагивало плечо командира роты, увидел бы совсем не то, знакомое до мельчайших черточек лицо капитана, а другое, спикшее, чужое, обескровленное.

Колонна надвигалась стремительно; маленький легкий танк уже достиг гречишного поля, уже вошел в гречиху, но вот из-под гусеницы вырвался огненный сноп, танк закрутился на месте, как волчок, и занылал. И словно по сигналу, вся колонна остановилась. Это случилось так неожиданно, что Пашенцев не сразу сообразил, что произошло, а когда понял — немцы наткнулись на минное поле, — почувствовал облегчение. Но минное поле было только первым препятствием, а еще противотанковые пушки, еще бронебойщики... Ротные бронебойщики должны бить по тягачам, пусть автоматчики выпрыгивают из машин на землю, тогда «отсечь» их от танков будет не так сложно... «По тягачам! По тягачам!» — мысленно повторял Пашенцев, все яснее представляя себе ход боя и радуясь, что «нужная команда» найдена, что хотя это, может быть, и не совсем то, что нужно, но колонна стоит и есть еще время подумать и решить; к капитану возвращалась уверенность, он расправил совсем было ссутулившиеся плечи, и, когда Володин, отчаянно-радостно кричавший: «Горит! Горит!» — повернулся к своему командиру, лицо капитана снова было спокойным.

— Горит, товарищ капитан!

— Вижу: горит.

— А танки-то, танки-то — стоят!

— Рано ликовать, лейтенант, это еще только начало...

Но Володин не дослушал капитана, его внимание вновь привлекла колонна. По головному танку с флангов били пулеметы, цепочки трассирующих пуль скользили над гречихой, ударялись в броню и рассыпались, пулеметчики явно дразнили немца, и танк огрызался, разворачивая башню то вправо, то влево; Володин с восторгом наблюдал за необычной дуэлью между двумя пулеметчиками и танком, и каждый раз, как только после орудийного выстрела снова оживал тот или иной

пулемет, Володин полушепотом, но со всеми оттенками радости и торжества восклицал: «Молодец!» Но Пашенцев, едва заметил эту затеянную пулеметчиками его роты ненужную и опасную игру, раздраженно выругался:

— Что делают, что делают, мерзавцы!

А Володин уже выкрикивал новое радостное сообщение:

— Наши бьют по танкам!

По неподвижно стоявшей перед заминированным гречишным полем вражеской танковой колонне начали пристрелку тяжелые гаубичные батареи. Но и танки, и самоходные пушки сперва будто нехотя, лениво, но с каждой минутой все резче стали отвечать на залпы батарей. Немцы, судя по всему, не собирались отходить, но и не предпринимали ничего, чтобы разминировать проход для своей колонны, и эта их то ли нерешительность, то ли растерянность смутила и насторожила Пашенцева. Он чувствовал, что за всем этим кроется какой-то определенный замысел, но какой — разгадать не мог; опять его охватило беспокойство, опять тревожно заметалась мысль; он смотрел на вражеские танки, на всыхивавшие дымки выстрелов и пыльные столбы разрывов, вглядывался в сизую на горизонте кромку леса, стараясь увидеть что-нибудь такое, что помогло бы ему разгадать план противника; взглянул в небо и увидел «юнкерсы». Первое, о чем он сразу же подумал, — под бомбовым прикрытием немцы начнут разминировать проход! Но «юнкерсы» не долетели до позиций батальона, а обрушились на гречишное поле как раз перед самой колонной. Володин тут же высказал восторженное предположение: «Бьют по своим!» — но Пашенцев, хотя и у него возникла такая же мысль, отнесся к этому предположению недоверчиво. Немцы не могли не видеть траншею сверху, а главное, они бомбили совершенно определенно, прицельно, сбрасывая свой смертоносный груз в одно место — впереди колонны. «Разминируют! Бомбами разминируют! Вызвали по радиации самолеты и разминируют!» — наконец догадался Пашенцев. Теперь для него было все ясно, теперь он знал, как вести бой; «юнкерсы» еще один за другим устремлялись в пике, но капитан уже не следил за ними; нагнувшись к связисту Ухину, он передавал команды:

— Приготовить противотанковые гранаты и зажигательные бутылки!

— Танки в случае прорыва пропускать и забрасывать гранатами и бутылками!

— Бронебойщикам бить по тягачам!

— Пулеметчикам и автоматчикам отсекай пехоту!

Капитан говорил твердо и резко, и связист Ухин едва поспевал за ним повторять слова команды.

А Володин продолжал стоять у бруствера и смотреть вперед. За грохотом боя он не слышал ни голоса капитана, ни голоса связиста, даже не заметил, что капитан отошел от бруствера к связисту, — он все еще восторгался тем, как «немцы колошматили сами себя», и, когда очередной «юнкерс», поравнявшись с висевшим над гречишным полем чадным облаком пыли и гари, падал в пике, Володин готов был кричать тому сидевшему в самолете фрицу (как только что кричал своим пулеметчикам): «Молодец!» Вначале, во время артиллерийского налета, Володин еще пытался думать и осмысливать происходящее, но когда увидел колонну и затем, когда колонна остановилась, и особенно сейчас, когда, по его мнению, творилось что-то невообразимое, но отрадное для него и для всех соломкинцев, — сейчас Володин не мог ни думать, ни оценивать обстановку, он весь был во власти восторженных порывов, и все, что грохотало и двигалось, все звуки — от коротких автоматных очередей до тяжелых гаубичных разрывов, — все это представлялось ему не началом, а завершающим аккордом боя. Потому и смутился он, когда Пашенцев, окликнув его, приказал немедленно идти к пулеметным гнездам.

— Стоять до последнего!

— Так они же...

— Они разминируют бомбами, сейчас двинут... Выполняйте, лейтенант!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Однажды после удачной ночной контратаки — как раз после той, в которой впервые участвовал Володин, — когда была отбита у немцев высота, в еще дымившие, в еще не остывшие после схватки окопы пришел корреспондент армейской газеты. Корреспонденту очень хотелось узнать, что чувствовал командир роты Пашенцев перед атакой, во время атаки, — словом, в эти, ну, героические минуты. О чем вспоминал — о доме, жене, детях? Или думал о Родине, рассекая фрица из автомата?

— Какое чувство, лейтенант, вы сами испытываете сейчас, находясь здесь, на только что отбитой у немцев высоте?

— Я?.. Я выполняю задание.

Пашенцев снисходительно улыбнулся:

— Так и мы — задание выполняли...

Сейчас, в минуту напряженного ожидания, пока танковый ромб, сжимая бока, втягивался в разминированный «юнкерсами» проход на гречишном поле, пока, пройдя гречишное поле, вновь выстраивался, уже для последнего броска, направляя острие прямо в центр обороны батальона, на роту Пашенцева; пока соломкинцы наращивали орудийный и минометный огонь по танкам и тягачам, стараясь во что бы то ни стало расколоть ромб, превратить его в бесформенную лавину и тем ослабить удар,— из всех воспоминаний, которые пронесли в голове Пашенцева в эти короткие минуты напряжения мыслей и нервов, одна картина особенно ясно представилась ему — юное лицо корреспондента, вернее, даже не лицо, а лишь силуэт курчавой головы на бледной синеве рассветного неба. Стояли в траншее. Корреспондент был высокий, саженного роста, курчавая голова его возвышалась над бруствером; набитая записными книжками и пачками газет полевая сумка висела на шее и сутулила, сгибала к земле его худую костлявую фигуру; он задал вопросы и в сумеречной темноте делал записи в раскрытом блокноте... И вопросы, и восторженный тон корреспондента, и профессиональная навязчивость, с какою он выспрашивал подробности почной контратаки, и настойчивое стремление узнать мысли и чувства командира роты,— это-то и раздражало Пашенцева. Единственно, чего хотел Пашенцев и о чем думал,— поскорее расстаться с корреспондентом, смыть с лица брызги крови и грязи и выпить водки; было сыро, промозгло сыро, пот проступил сквозь шинель и взялся на спине изморозью; водка во флягах ледяная, будет ломить зубы; эту ломоту, это желание выпить, умыться, потом сесть и затянуться крепкой махоркой, чтобы наконец унялась противная дрожь в руках,— вот о чем думал и что чувствовал Пашенцев. Но корреспондент спрашивал, и Пашенцев отвечал.

«Еще раз, простите: когда подняли солдат в атаку, вспомнили, конечно, о Родине?»

«Да, именно о Родине я и подумал в эту минуту».

«Хорошо, очень хорошо! А что конкретно? Дом? Двор? Плетень с крапивой? Новую школу?..»

«И дом, и двор, и плетень с крапивой, и новую школу...»

«Так-так, хорошо... А жену?»

«И жену...»

«И дочь?»

«И дочь...»

«И письмо у вас... ее маленькой ручонкой?..»

«Почему маленькой? Жена у меня...»

«Дочку, малышку, имею в виду...»

«Никакой дочери у меня нет, у меня есть сын!»

Не разговор, а только костлявая фигура, только силуэт курчавой головы на бледной синеве рассветного неба на секунду вспомнился Пашенцеву, и он улыбнулся той же снисходительной улыбкой, как и тогда, в то промозглое утро после удачной контратаки.

Немцы перенесли огонь в глубину, над траншеей уже не вздымались столбы серой пыли и дыма, небо очистилось, и Пашенцев с командного пункта теперь хорошо видел и всю правую сторону до самого стадиона, где кончались позиции его роты и начинались позиции другой; и всю левую сторону до березового колка, откуда сейчас, не переставая, били орудия по танкам; и все, что было прямо перед глазами, — рваную змейку бруствера, ход сообщения к траншее, согнутую спину лейтенанта Володина, бегущего по этому ходу сообщения к пулеметным гнездам, и пулеметные гнезда — серые окончики, кипевшие белыми огоньками очередей, и танковый ромб, который уже миновал гречишное поле и теперь с ревом и лязгом накатывался на траншею. Пашенцев следил и за лейтенантом Володиным — успеет ли к пулеметам? — и за танками, за этой железной лавиной, которую, казалось, уже ничем нельзя было остановить. Тяжело перебирает гусеницами передний танк. К его башне тянутся огненные трассы. Белые блики вспыхивают на броне. Танк со страшным названием «тигр» кажется неуязвимым, снаряды, как орешки, отскакивают от его лобовой брони (но только у страха глаза велики, история уже обвела кружок под Прохоровкой — будущее кладбище «тигров»); танк ползет, трассы скрепчиваются над ним, рикошетят, артиллеристы нацеливают уязвимые места...

— Мать моя, — шепчет связист Ухин, у которого уже начинают белеть губы.

— Сволочи, — говорит Пашенцев, но та уверенность в исходе боя, возникшая минуту назад, когда он отдавал команды, — уверенность сменяется предчувствием непоправимой беды: «Неужели снова... как на Барвенковском?..»

Если когда Пашенцев и вспоминал о Родине, то было это в свободное время, в часы раздумий и одиночества, и вспоминал совсем не так упрощенно, как представлялось тому корреспонденту из армейской газеты. Вероятно, и сам корреспондент не думал так упрощенно, как писал в заметках; где-то в тайниках

души он уже вынашивал иные фразы: «Только в детстве нам все было просто и ясно: «Шагай вперед, комсомольское племя...», «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...» Школьный двор, светлые окна, зеленые тополя под окнами, пионерская линейка, трубач с красным флажком на горне и песня: «Шагай вперед...» Детские мысли шагали в синие дали — впереди все было просто и ясно. Когда потом учитель говорил на уроке, что Ломоносов был великим тружеником, что только трудом постиг науки и принес славу Отечеству, — эти слова уже не имели смысла и не воспринимались, потому что «мы знали, что живем в такую эпоху, когда нам все легко и ни о чем». Но война все перепутала и усложнила...» В Малых Ровеньках, на чердаке, среди медных подевичников, выцветших икон, разбитых прялок и еще разных старых вещей, полуистлевших и сохранявших свою форму лишь потому, что их уже целое столетие не трогали, не передвигали с места на место, — среди этой старой рухляди лежал раненный в ногу полковник Пашенцев. Сквозь тесовую крышу, как сквозь решето, струились потоки света; утром солнечный зайчик падал на медные подевичники, перебирал иконы и прялки и угасал на подвешенных к стропилу деревянных коньках. «Я тоже носил ланты и катался на деревянных коньках!» Шура плечом задевала эти висевшие на стропиле деревянные коньки, когда приносила на чердак хлеб и листья подорожника, чтобы наложить на рану; коньки стучали, как две сухие косточки, она в ужасе хватала их рукой и прижимала к груди. Она приходила редко и всегда на заре, как видение; у Пашенцева было много времени для раздумий. Здесь, на чердаке крестьянской избы, среди хлама и вековой пыли, он создал свою философию жизни. Он принимал то положение, что жизнь движется по спирали, но если у витков и в самом деле нет конца, то все равно на каком-то надо поставить точку. Он даже знал, на каком должна стоять точка. Витки жизни наслаивались один на другой, как разноцветные кольца, как тот синий, желтый, оранжевый перелив света, сочившегося на чердак сквозь прогнившую тесовую крышу. Пашенцев закрывал глаза; он часами лежал с закрытыми глазами, предаваясь воспоминаниям. Последнее время перед войной он жил в Муроме — небольшом тихом городке на Оке. Излучина реки, пристань с контурами крохотных издали пароходиков, стальные синопты моста и сам город, старый купеческий Муром, с деревянными избами, тесовыми крышами, маленькими по-северному оконцами, город, тонущий в белесой рассветной дымке, — таким видел его Пашенцев из окна вагона,

возвращаясь из командировок, таким запомнил, таким и представлял себе, лежа с закрытыми глазами на чердаке. Железная дорога описывала полукруг, и, пока паровоз, пыхтя и пыжась, подтягивал состав к стрелке, в окне, как на экране, проплывала станционная водокачка. Она была из красного обожженного кирпича. За ней из такого же красного кирпича виднелся двухэтажный дом, единственный двухэтажный во всем пристанционном поселке. Водокачка поочередно заслоняла собой все окна дома, и, когда наплывала на последнее окно, как раз на окно его квартиры, Пашенцев лез на верхнюю полку за чемоданом. Через несколько минут он уже шагал по мощеному перрону навстречу громыхавшим багажным тележкам и потоку людей; шел напрямик через садик, пролезал под изогнутыми прутьями ограды (стесняться было некого, там проходили все — и служащие в фетровых шляпах и при галстуках, и кочегары в пропитанных угольной пылью ватниках) и сразу попал на шумную улицу; за поворотом, в угольном переулке, он знал, у одного из подъездов красного кирпичного дома стоит жена; она только что проводила сына в школу и теперь смотрит ему вслед; сейчас обернется, заметит его, Пашенцева, кинется на шею, и они вместе войдут в дом; потом она скажет: «Фу, ты весь пропах вагоном!» — обязательно скажет это и примется расстегивать пуговицы на гимнастерке... Много было встреч. Все их перебрал в памяти Пашенцев. Подумал и о той, будущей, которая должна состояться после войны, — изменят ли расписание пассажирские поезда? «Я обязательно приеду обычным, утренним!» Поезда не изменили расписания. И в те же дни, когда он, раненный, лежал на чердаке крестьянской избы в Малых Ровеньках, и потом они прибывали в Муром на рассвете и оглашали станционный поселок пронзительными гудками; так же по мощеному перрону громыхали багажные тележки и спешили люди к вагонам; так же по шумной улице двигался поток утренней смены, только, может быть, он был реже и больше было женщин в этом рабочем потоке; так же выходила на крыльцо жена и провожала сына в школу, только, наверное, уже не надевала яркие платья и взгляд ее, наверное, был строже и задумчивее. «Меня тоже каждый день провожала мать в школу, правда, это было не в Муроме, и за спиной у меня не висела сумка, и школа, в которую ходил, называлась всего-навсего приходской; мать выводила меня на крыльцо, брала за руку и шептала: «Да благословит тебя господь, сынок, учись», и в глазах ее светились счастье и страх за мою судьбу; кажется, она

никогда не снимала с плеч черный платок, потому что отца угнали на германский фронт; отец так и не вернулся с фронта... Жена смотрит сейчас на нашего сына Андрюшу, и в глазах ее тоже — и счастье, и страх; я не помню в ее глазах этого, но она — мать, она не может иначе; только, паверное, не шенчет: «Господи, благослови!» — она не верит в бога...» Два витка спирали, они лежат так близко друг к другу, что трудно провести между ними грань. Что будет с Андреем, когда он станет большим? Что будет с сыном Андрея?.. Память спускается вниз по виткам: «В ту же приходскую ходил мой отец, а в это время отец моего отца, мой дедушка, добывал Георгия на турецкой; а когда дедушка был маленьким, его отец, мой прадедушка, ходил на поляков; а когда прадедушка...» Витки, витки, как перелив света на чердаке, как разноцветные кольца, и на каждом — своя кровавая отметина. Каждому поколению выпадала на долю война. Витки вниз — с отметинами; витки вверх — с отметинами... Нет, на восходящих витках не должно быть отметин. Хватит человечеству крови и слез. Но когда, чьим отцам суждено поставить точку?

Ромб надвигался, ревели моторы и скрежетали гусеницы; на броне головного танка вспыхивали белые блики — артиллеристы еще не нащупали уязвимые места. Из танков немцы стреляли по окнам, и над землей опять текла клочковатая желтая пыль. Сiniны лейтенанта Володина в ходе сообщения уже не было видно, лейтенант пробрался в траншею, и теперь только каска его, как серый ком, то и дело подпрыгивала над бруствером. Но немцы уже засекли пулеметные гнезда и били по ним прицельным огнем. Один за одним смолкли пулеметы; у Пашенцева побелели губы. «Не успел лейтенант! Не сумел вовремя отвести расчеты на запасные!»

— Кто спрыгнул в окон?

Несмотря на оглушительный грохот и гул, Пашенцев все же уловил этот приглушенный звук спрыгнувшего в окон человека.

— Старшина Пяткин, — обернувшись и увидев старшину, ответил Ухин.

— Кто? Громче!

— Наш старшина, Пяткин!

Пашенцев не знал, кем и на каком витке спирали будет поставлена точка — на этом, на нашем? Или на следующем? «Фашисты пришли на нашу землю, надо разбить их, прогнать,

во что бы то ни стало прогнать!» — так думал Пашенцев, лежа на чердаке крестьянской избы. Тогда в нем родились и холодность, и лютая ненависть к врагу. Он понимал, что далеко не все зависит от него, что от него, раненого, находящегося в окружении, пожалуй, даже ничего не зависит, но все же строил планы, мыслил так, будто находился в Кремле и силой своей воли мог влиять на события; «всякий из нас ежели не больше, то никак не меньше человек, чем великий Наполеон!».

Сквозь тесовую крышу, как дождь, струились потоки света. Пашенцев закрывал глаза; он часами лежал с закрытыми глазами, предаваясь воспоминаниям: старый Муром на излучине Оки... «Фу, ты весь пропах вагоном!» — она обязательно говорила эти слова и потом принималась расстегивать пуговицы на гимнастерке. Ее руки еще пахли мылом, наскоро заколотые волосы рассыпались; она никогда не носила короткую прическу, хотя это и было модно в те времена, никогда не завивала ни на три, ни на шесть, ни на двенадцать месяцев, хотя ярче всех городских реклам светилась реклама «Дамского зала» и за широкими разрисованными окнами сидели полные достоинства и величия муромские женщины, будто головы их были увешаны не жестянками, а лаврами, — она собирала волосы на затылке в тугой валик и закалывала черными шпильками; черные шпильки утопали и терялись в черных волосах; пока она расстегивала пуговицы на гимнастерке, Пашенцев сверху смотрел на ее волосы, смуглую шею и тот белесый потелу от оконного света пушок, сбегавший за платье; он любил ее такой, утренней, еще не растерявшей запаха чистых простыней, и всегда ощущал в эти минуты прилив теплоты и счастья. Он и теперь, вспоминая, испытывал то же чувство теплоты и счастья. Горячий кофе стоял на столе, но она не спешила приглашать; она никогда ни в чем не спешила; пока Пашенцев умывался, она сортировала содержимое дорожного чемодана, и, когда он, розовый от горячей воды и махрового полотенца, чисто выбритый, переодетый в китель с ослепительно белым подворотничком, выходил в гостиную, все уже было разобрано и разложено по своим местам. Она сидела на стуле и в опущенных руках держала газетный сверток; тихо произносила: «Опять?» — и протягивала сверток. Все, о чем она думала, — все укладывалось в это одно укоризненное слово. Для Пашенцева оно звучало так: «Опять? Ты опять завернул мыльницу, зубную щетку и пасту в газету? Ты разве забыл историю с нашим соседом? Он был неплохим машинистом и честным человеком, да, да, честным, не смотри так, я умею

разбираться в людях. Ты разве забыл, за что его арестовали? Он заворачивал бутерброды в газету, бутерброды, учти, хлеб и колбасу себе на завтрак, и его объявили врагом народа».

«Да, но он, кажется, завернул бутерброды в газету с портретом».

«Ах, ты как маленький. Ты словно не читаешь газет. Есть ли портрет, нет ли портрета — какая разница: во всех статьях, заметках, очерках, стихах — всюду о н, о н!»

«Но машинист, кажется, готовил покушение... — даже мысленно нельзя было назвать рядом со смертью имя того, на кого готовилось покушение. — Это точно, говорят, в депо на собрании объявили — готовил покушение...»

«За тысячу верст от Москвы?!»

Она разливала кофе, в комнате царила тишина; потом посеребренными щипчиками колола сахар, и Пашенцев видел над столом ее руки; он чувствовал, что должен что-то сказать, но не мог ничего сказать. В окне виднелась красная башня водокачки и железнодорожное полотно. На станцию прибыл пассажирский поезд. Медленно из-за водокачки выплыл паровоз, потом товарный вагон и еще вагон — темно-зеленый, с решетками на окнах; в каждом пассажирском поезде был такой вагон — темно-зеленый, с решетками; их было много, этих вагонов, проходивших через старый Муром, они тянулись в Сибирь, наполненные арестантами; за решеткой прилипли к стеклу худые, жадные, заросшие лица обреченных: среди этих лиц было где-то и лицо соседа-машиниста.

— Ты не жалеешь ни себя, ни нас.

— Пойми, все это вздор. Нельзя же так жить: в своей стране и бояться даже самого себя! Ну хорошо, буду аккуратен, даю слово.

Пашенцев не знал всего того, что происходило тогда, и не верил, что вместе с виновными страдали и невинные люди, что невинных, пожалуй, было гораздо больше в проезжавших темно-зеленых вагонах с решетками; пройдет еще много лет, прежде чем люди, оглянувшись, увидят содеянное в те годы и ужаснутся; и Пашенцев ужаснется вместе со всеми и будет говорить: «Да, я удержался на волоске!» — относя эту фразу не к тому, как он, раненный, выбирался из окружения, а к другому — как заворачивал в газету мыльницу, зубную щетку и пасту. Так будут говорить многие. Но тогда, в те годы, как и его сослуживцы, Пашенцев видел во всем, что творилось в стране, большой смысл; в поезде, в котором он ехал на фронт, не было темно-зеленого вагона с решетками.

— Буду аккуратен, даю слово.

— Прошу тебя...

Она говорила тихо, последние слова ее заглушал стук отходившего поезда. Все быстрее выскакивали из-за водокачки вагоны и сливались в один зеленый пояс; шум смолкал, и в окне снова виднелись только красная кирпичная башня, железнодорожное полотно и кучи шлака на полотне, оставленные паровозами; равнодушный стрелочник со скучающим видом запирает на замок стрелку. Пашенцев задергивал шторы, чтобы не видеть ничего этого, подвигал стул ближе к жене; он садился так близко, что чувствовал на щеке прикосновение ее волос; брал ее руку, потом обнимал за плечи, и она покорно опускала голову к нему на грудь; она была теплая и нежная и все еще пахла чистыми простынями; по тому, как вздрагивали ее плечи, все тело, Пашенцев знал, что она плачет. Она всегда говорила, что плачет от радости, но это было вовсе не так; она выплакивала то, что никогда не посмела бы высказать мужу, — горечь разлук. Пашенцев сверху смотрел на ее волосы, собранные валиком на затылке, смуглую шею и тот белесый по телу от оконного света пушок, сбегавший за платье; он любил ее такой, нежной, отходчивой, и в сотый раз говорил себе: «Я не должен ее огорчать!» Сейчас, лежа на чердаке с закрытыми глазами, повторил эти слова: «Я не должен ее огорчать!» — и снова подумал о газетном свертке, соседе-машинисте и темно-зеленых вагонах с решетками... Все, что совершалось в стране, имело для Пашенцева большой смысл; он был чист совестью и верил, что честного человека никто никогда пальцем не тронет; он укладывал на витки спирали пока иные события, то, что было связано с войной, против чего в нем поднимался и нарастал протест. Между двумя датами он проводил параллель — между двадцать первым годом и сорок первым. Двадцать первый — засуха, разруха, голод; кажется, поднялось почти все Поволжье и двинулось в Ташкент за хлебом; узловая Рузаевка, как перевалка, вбирала и исторгала этот поток обезумевших от голода людей. Пашенцев тогда только принял командование ротой. Вместе с подразделением его направили на станцию помогать рузаевским железнодорожникам наводить порядок. День и ночь прибывали и убывали составы, людская волна захлестывала маленький, как остров среди железнодорожных путей, вокзал; всюду: на перроне, в залах ожидания всех классов, по всей пристанционной площади и даже в товарных тупиках, — всюду громоздились тюки, чемоданы, и среди этих тюков из лоскутных одеял копошились грязные полуголые дети, растрепанные старухи, ни на

шаг не отходившие от своих вещей; тут же прохаживались парни в широких «чарльстонах» и запрокинутых кепках, с бритвенными лезвиями в руках; «Ташкент, Ташкент!» — в тысячах вариаций произносилось это слово: и с мольбой, и с надеждой, и с проклятиями; оно гуляло по вокзалу вместе с потоком отчаявшихся людей, штурмовало вместе с ними билетные кассы, прибывало и убывало с поездами; оно обозначало — хлеб. По ночам разбивались стекла витрин, выламывались двери магазинов, а потом далеко за стрелкой находили «случайно» понавшего под поезд сторожа; «случайно» попадали под поезд самые разные люди и днем и ночью; их находили на всех путях, разутых, раздетых донага; в холодном дощатом складе, превращенном в стационарный морг, неделями лежали эти «случайные» в ожидании, пока их опознают родственники. Штаб, небольшой домик с низкими окнами, где постоянно дежурил Пашенцев, находился как раз напротив морга. К моргу подходили жены, разыскивавшие мужей, мужья, разыскивавшие жен; толпа то редела, то вновь становилась гуще, но никогда не таяла; отовсюду видел Пашенцев эту толпу — с крыльца, когда отправлялся по вызову на вокзал или к товарным тупикам, с улицы, когда возвращался в штаб, из окна, когда сидел в штабе; иногда толпа расступалась, из ворот морга выходила испуганная женщина, с минуту еще стояла, не в силах, очевидно, сразу понять то, что произошло, потом извергала истошный крик, хваталась за волосы и, теребя их, падала на мостовую; толпа смыкалась теперь уже кольцом вокруг этой бьющейся о булыжник женщины — она опознала мужа и у нее шестеро детей, которые со вчерашнего вечера не ели, у нее нет теперь ни мужа, ни денег и она не вернется к детям, сторожившим лоскутные тюки, а пойдет к стрелкам и ляжет под поезд; но пока — она бьется о мостовую, и кто-то с еще не очерстневшей душой прорывается в комнату к Пашенцеву и просит, умоляет, требует вызвать «скорую помощь». «Уже вызвана, гражданин, успокойтесь!» Память неумолима, она способна восстановить все краски картины, оттенки и полутона. Те дни, когда приходила жена, были для Пашенцева самыми мучительными. Она приходила в полдень, как раз в то время, когда у ворот морга собиралась особенно большая толпа; она становилась у окна и, держа на руках маленького Андрюшу, смотрела на эту толпу; тогда она была худенькая, совсем почти девочка, и носила косу, и Пашенцев еще не знал, как похорошеет она с годами, как легкая полнота очертит ее талию, а прическа украсит лицо и он полюбит ее еще больше, чем любил девушкой, — тогда у окна стояла

худенькая женщина с ребенком на руках и смотрела, как там, за стеклом, в кольце людей билась о мостовую другая женщина, желтая от голода и горя. Пашенцев брал на руки сына и заслонял спиной окно: он не хотел, чтобы жена видела эту картину, и не отходил от окна до тех пор, пока толпа не затихала на улице... «Я никогда не думал, что такое может повториться. Я не мог представить себе, что есть еще нечто более ужасное, чем голодный двадцать первый. Но я увидел это...» Осенью сорок первого — шли уже морозящие дожди, и холодные ветры разгуливали по перронам — воинские эшелоны продвигались к фронту. На железных крышах вагонов, на тендерах паровозов стояли снарядные зенитные пулеметы; из окон теплушек торчали стволы винтовок; эшелоны двигались быстро, безостановочно, под зеленый свет светофоров проскакивали полустанки, забитые санитарными поездами, составами с беженцами; чем ближе к фронту, тем чаще расчехлялись зенитные пулеметы, тем больше попадалось встречных санитарных и составов с беженцами; эти составы загромождали станции, стояли на всех туниках, обвешанные одеялами и пеленками, обкурившие дымком костров и желтым дымом бомб; их, эти составы, снимали с путей, расчищая дорогу воинским эшелонам, они горели вместе с подожженными вокзалами, взлетали на воздух вместе с охваченными огнем бензоцистернами, валялись под откосами, и всюду на развороченных насыпях рядом с обломками и обгорелыми остовами вагонов лежали труны людей; лежали дети, старики, женщины; лежали обугленные тюки, чемоданы; не было только моргов, и никто не опознавал труны, люди бежали от бомб, от рабства. По всем дорогам шли беженцы, шаркали протертыми подошвами, скрипели подводами; это был тот же поток голодных, испуганных, мечущихся людей; где-то их принимали, сортировали, направляли по городам, где-то в тылу был порядок, но это было в тылу, это предполагалось, а глаза видели одно — обезумевший поток, бессмысленные разрушения, кровь, пепелища вместо городов и сел... И сорок первый, и двадцать первый, и поражение на Барвенковском, и бой под Малыми Ровеньками, где лег под танками весь полк, и сознание того, что после этого боя немцы опять далеко рванули вперед и, наверное, уже вышли к берегам Волги, — все это мучительной болью отзывалось в душе подобранного и спрятанного на чердаке крестьянской избы раненого в ногу полковника Пашенцева. Все виденные и пережитые им картины еще отчетливее представлялись ему теперь и, казалось, еще глубже врезались в память. Именно здесь, в Малых Ровеньках, Пашенцев понял, какие бед-

ствия приносят народам войны. Двадцать первый год, разруха, нищета, запасы истощены, и засуха — как последний бич... И эта война истощит все и разрушит! Витки вниз с зарубками, витки вверх с зарубками; Пашенцев почти физически ощущал эту спираль с кровавыми зарубками бедствий, и перед ним вновь неодолимо вставал вопрос: когда, чьи отцы поставят наконец на витках войны точку?

Кто? Громче!

Наш старшина, Пяткин!

Головной танк горел, на его броне больше не вспыхивали белые блики; он весь был объят пламенем и охвачен дымом.

Соломкинцы, словно по взмаху дирижерской палочки, словно от радости, что головной горел, что вслед за ним еще остановились и загорелись несколько танков, что они вовсе и не были так неуязвимы, как это показалось в первые минуты, соломкинцы с удвоенной силой ударили по наступающей колонне. С буревым посвистом носились стальные болванки над гречишным полем. Ромб не выдержал, раскололся, потерял стройность и слаженность, превратился в бесформенную лавину, и, хотя эта лавина продолжала безостановочно накатываться на позиции, она уже не была так страшна, как вначале. Происходило как раз то, что и предвидел Пашенцев, отдавая команду бронбойщикам бить по тягачам: из подбитых тягачей выпрыгивали автоматчики и устремлялись за танками; их сизые фигурки уже хорошо проглядывались в клочковатых разрывах дыма.

— Старшина!

Как раз в ту минуту, когда Пашенцев уже решил послать старшину Пяткина, неожиданно и очень кстати оказавшегося на командном пункте, к пулеметным гнездам, чтобы узнать, что там произошло, и, если цел хоть один пулемет, отвести его на запасные позиции и уже с запасных открыть огонь по немецким автоматчикам, — как раз в ту минуту, когда Пашенцев уже решил отдать такую команду, на запасных ожил пулемет. Не по звукам, которые сразу же потонули в общем грохоте боя, а по тому, как заплясал белый огонек над бруствером, понял Пашенцев, что произошло на запасных: он опять подумал о лейтенанте Володине, что лейтенант действительно-таки молодец, что за это следует парнишку представить к награде; подошедшему старшине крикнул в лицо:

— Готовь гранаты и засучивай рукава!

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Как только Володин, выполняя приказание Пашенцева, вышел из окопа и по ходу сообщения побежал к траншее, к пулеметным гнездам, то радостное возбуждение, охватившее его еще в начале боя, когда танковый ромб стоял перед гречишным полем, а «юнкерсы» сбрасывали бомбы, разминая проход, — то радостное возбуждение, придававшее бодрость и силу, сразу же покинуло его. Он бежал по разрушенной снарядами и бомбами траншее, скатывался в воронки, переползал через завалы; он чувствовал, что приближалась решающая минута, и страх перед этой минутой, и желание быть бесстрашным, смелым то останавливали его, и он напряженно прислушивался к грохоту, лязгу и реву моторов, то поднимали, и тогда он снова устремлялся вперед. В траншее лежали раненые, и никто их не подбирал; шум боя заглушал их слабые стоны. Они поворачивали землистые, страдальчески сморщенные лица к пробегавшему мимо лейтенанту, и Володин с трудом узнавал своих бойцов. «Где Жихарев? Почему никто не перевязывает раненых?..» Но почти тут же Володин наткнулся на санитарного инструктора роты — Жихарев лежал у входа в одну из боковых щелей, маленький, съездившийся, у подбородка колени, с открытым белым лицом. Комочки красной, осыпавшейся со стены глины набились в ухо, скатывались по белой щеке, лбу, прилипали к влажным мертвым глазам. Здесь же валялись санитарная сумка и разорванная осколком каска. А напротив, в небольшом отсеке, бойко работал расчет бронебойщиков.

— Четвертый!.. — во весь голос кричал наводчик Волков, и подручный Щеголев с размаху царапал на стенке окопа полосу.

И уже снова слышался грозный голос Волкова:

— Патроны!..

Рядом с отсеком, прильнув плечом к автомату, стрелял Белошесев, и к ногам его стекались горкой желтые, пахнущие свежим дымком гильзы. Траншея жила: незаметные в серой пыли, запыленные и такие же серые, как пыль, солдаты делали свое трудное на войне дело; ни до раненых, ни до убитых, живые думали о живом — отбить, сломить, захлестнуть огнем атаку вражеских танков и пехоты. Володин перешагнул через труп Жихарева и побежал дальше. До пулеметных гнезд оставалось не больше десяти метров, два поворота траншеи. Уже минуя последний поворот, вдруг

обнаружил, что пулеметы молчат. Когда они смолкли — только что или минуту назад? Почему смолкли? Он ринулся к «гнездам», по которым сейчас вели усиленный огонь вражеские самоходные пушки, ринулся в самую гущу разрывов, забыв о страхе и смерти и думая только об одном: «Почему? Почему?..» Но там, куда он спешил, — Володин и не подозревал даже — пулеметов уже не было. Младший сержант Фролов, как только понял, что немцы засекли «гнезда», увел расчеты из-под огня на запасные позиции, и самоходные пушки били теперь по пустым окопам. Ослепительные и быстрые, метались разрывы вокруг Володина, он не выдержал, упал и последние метры полз по-пластунски, отчаянно работая локтями.

Три пулеметных гнезда — три окопа, соединенные ходом сообщения. На дне — полуприсыпанные землей вороха стреляных гильз, опорожненные и брошенные второпях диски. В одном из окопов Володин заметил раненого Размахина. Пулеметчик полз на локте к траншее, волоча за собой раздробленные ноги.

Володин кинулся к нему:

— Где пулеметы?

Размахин уперся ладонями в глинистое дно окопа, приподнял голову; и руки, и плечи, и голова его тряслись от натуги и боли.

— Где Фролов? Где пулеметы?

Размахин ничего не сказал, сник, повалился грудью на землю. Расспрашивать его бесполезно. Что делать? Уходить назад? Пулеметов нет; окопы пусты — уходить! Володин медленно пятился от распластанного тела Размахина; было жутко, одиноко и пусто среди высоких серых стен, и он пятился от этой пустоты, от охватившего его страшного чувства одиночества. В глубине окопа стояли рядом стройные, как шеренга солдат, противотанковые гранаты. Володин заметил их, пересчитал взглядом — шесть. «Шесть, шесть, шесть!..» — мысленно повторял он, считая и пересчитывая шеренгу. «Бежать, бежать, бежать!..» — говорил в нем другой сильный голос и заставлял пятиться. Володин уже сделал движение, чтобы выйти из окопа, и заколебался: может быть, Размахин еще жив и ему нужна помощь? Он снова приблизился к распластанному телу пулеметчика, еще ни на что не решаясь — то ли остаться и перевязывать солдата, то ли бежать в траншею, — и услышал треск своих пулеметов. Били с запасных. То прерываясь, то захлебываясь, словно соревнуясь в торопливости:

«Та-та-та-та!..» — выводили мелодию накаленные стволы. «Живы-живы-живы!» — обрадованно повторял Володин, разгибая спину и приподнимаясь. Прошел в глубь окопа, выглянул через бруствер и увидел танки. Их было много, но Володин смотрел на один, самый ближний к нему. Как маятник, раскачивался длинный ствол, и сам танк раскачивался и рычал, выплывая из пыли, большой и черный на фоне голубого утреннего неба. Позади танка, в дыму и пыли, виднелись темные фигурки автоматчиков в угловатых касках. Володин смотрел на них снизу, и они тоже казались ему большими и темными на голубом полотне неба. Фигурки падали, редели, а танк устрашающе наползал на окоп. Володин торопливо нащупал висевшую на пояском ремне противотанковую гранату, отценил ее и, холодея и пружиня всем телом, с силой, как на учениях, швырнул ее далеко вперед. Грянул взрыв, и Володин, совершенно уверенный, что танк подорван, но на всякий случай приготовивший к броске вторую гранату, снова выглянул за бруствер: невредимый и совсем большой, ясно видимый до поручней на броне, танк шел прямо на него. Теперь наугад, из-за плеча, из глубины окопа, метнул Володин гранату и пригнулся, ожидая взрыва; инстинктивно отценил третью гранату и, теряясь и уже не понимая, что делает, стал судорожно искать пальцами на гранате чеку, как у пехотной «лимонки», чтобы выдернуть ее; растерянно оглядел окоп: невысокие серые стены показались ему ненадежными, рыхлыми, они не выдержат тяжести танка, обвалятся, придавят. Неужели конец и он не увидит больше ни небо, ни землю? Нет, еще можно что-то предпринять, что-то сделать, немедленно, сейчас, сию секунду... Он напрягал ум, стараясь что-нибудь придумать, но ничего не мог придумать и так и сидел с гранатой в руках, ища и не находя на ней чеку. Бежать из окопа было еще страшнее, чем оставаться в нем, и Володин понимал это, но кто-то будто подталкивал его, настаивал: «Уходи, уходи!» — и он, поддаваясь этому упрямому голосу, примеривал взглядом, сколько шагов до выхода из окопа и сколько там, дальше, по траншее, до ближайшей щели, считал секунды: успеет ли? Он не успел — днище танка нависло над окопом. Володин упал, вытянулся во всю длину рядом с Размахинным и замер, ничего не слыша и не воспринимая, но ясно ощущая, как толща сырой и холодной земли наваливается на плечо, ноги...

Танк развернулся над окопом и остановился, подбитый нашими артиллеристами; по броне скользнул светлый язычок

пламени, и вскоре весь танк уже пылал, испуская клубы черного дыма.

Как после дурного сна, вдруг проснувшись, с наслаждением узнаешь, что все то страшное, что только что было с тобой, было во сне, и мысли уже текут ровно, спокойно, но в теле еще чувствуется неприятный озноб падения, — как после дурного сна очнулся Володин под мертвым танком, придавленный землей и оглушенный; словно в погребке с захлопнутой крышкой, лежал он в темноте, в соседстве с остывающим телом Размахина, и все звуки боя, только что пронзительно гремевшие вокруг, теперь слышались глухо, долетали откуда-то издалека, и по ним уже нельзя было определить, как складывался бой. Но пулеметы на запасных не смолкали, и Володин, улавливая их теперь совершенно притупленный говор, с радостью отмечал, что рота не отступила, что сражение идет здесь, на линии траншеи, и что это очень хорошо, и хорошо, что он, Володин, жив, и теперь только нужно, не торопясь, обдумать, как выбраться из-под танка. Сначала все его движения были неторопливы, размеренны — осторожно высвободил плечо и ноги из-под обвалившейся на него глины, огляделся в темноте, увидел узкую щель между гусеницей и землей и пополз к этой полоске света, стараясь не задеть Размахина; но вот окно стало наполняться едким, удушливым дымом, и Володин заторопился: все быстрее и быстрее двигались руки, разгребая землю, он кашлял, задыхался, но греб, вонзая пальцы в сухую комковатую глину и не чувствуя боли, тянулся к свежему воздуху, тонкой струйкой сочившемуся в узкий просвет; в танке начали рваться снаряды, грянул взрыв, второй, щель захлестнуло дымом и пылью, от накаленного днища ударило жаром, как от печи, стало печем дышать, и Володин уже не дышал, а глотал густой угарный воздух, но, изнемогая и теряя сознание, продолжал судорожно тянуться к просвету, подошвы скользили, он искал упора и сапогами мял и давил упавшую с головы каску пулеметчика. Теперь Володин уже ничего не соображал: не было для него ни боя, ни горящего танка, не было ничего, что предшествовало этой минуте, а была только эта минута, была смерть и он — один на один со смертью, охваченный паникой и ужасом; ему казалось, что он еще что-то делает: ползет, рвется вперед, на воздух, — но он только слабо шевелил пальцами и скатывался на дно окна. Последний раз где-то далеко в сознании промелькнула мысль, что он погибает бесславной, глупой, нелепой смертью, которой больше всего боялся, но которая все же настигла его, последний раз где-то

далеко в сознании промелькнула жалость к себе, досада на несбывшиеся мечты, и все потухло, улетучилось, задернулось искрящейся черной шторкой...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

«А ну еще!..»

«Еще разок!..»

«Разок!..»

Так говорил сам себе Ефим Сафонов, нажимая на спусковой крючок ручного пулемета. Он стрелял спокойно, ровными длинными очередями, поворачивая ствол в ту сторону, где появлялись немецкие автоматчики; он видел поле боя сквозь мушку своего пулемета, и все, что происходило в тесном обхвате мушки, представлялось ему отдаленным и мутным, как за синей сеткой дождя. В синих клубах двигались танки, в синих клубах бежали автоматчики, и Сафонов, ощущая плечом бодрящую дрожь пулемета, разрезал эту клубившуюся синь огненной трассой. Танки не пугали его: некоторые уже горели, а те, что еще ползли (он был убежден), будут подожжены — это дело бронебойщиков, а у него свое задание... Он был одним из тех спокойных и нерасторопных на вид русских солдат, которых ругают на формировках и в казарменных буднях, но которые, может быть, по той самой своей нерасторопности оказываются стойкими и незаменимыми в бою. Когда все же никем не подожженный вражеский танк вырос перед окопом, Сафонов убрал с бруствера пулемет и вместе с пулеметом в обнимку упал на дно окопа, не забыв, как учили, прикрыть рукой затвор, чтобы не попала туда земля и песок и чтобы потом, при стрельбе, не заклинивало патроны. Он делал все так, как его учили, и требовал такой же точности от своего помощника — молодого солдата Чебурашкина. Как только танк прошел через окоп, Сафонов снова поставил пулемет на бруствер и припал плечом к прикладу; он не стал бросать гранаты вслед прорвавшемуся танку, даже не оглянулся на него; не оглянулся и тогда, когда услышал позади себя резкий взрыв противотанковой гранаты, — ему, пулеметчику, приказано отсекал пехоту, и он отсекал, сосредоточенно, упрямо делая свое дело. То, что происходило за спиной: из соседней щели младший сержант Фролов и солдат Шаповалов подорвали танк гранатами и готовились так же встретить и второй, наползавший на них, — именно это и должно было происходить, и Сафонов не



представлял себе иначе, что это. Внизу, у ног его, сидел на корточках Чебурашкин и набивал очередной диск патронами. Отлетавшие от пулемета гильзы падали на каску, на крышку диска, солдат ворчал и отмахивался от них, как от мух.

«Еще разок!..»

«Разок!..» — повторял Ефим Сафонов, все так же, без поспешности, но с большим озлоблением нажимая спусковой крючок. Он ни на секунду не выпускал из виду окон, где остался тяжелораненый Размахин и где теперь находился командир взвода Володин (Сафонов видел, как лейтенант, лавируя между разрывами, пробрался туда), и стрелял по вражеским автоматчикам, которые вслед за танком перебежками приближались к тому окну. Он заставил залечь автоматчиков, а танк развернулся над окопом и загорелся.

— Чубук! — прекратив стрельбу, окликнул Сафонов своего помощника.

— Диск, дядя Ефим? — с готовностью отозвался молодой солдат.

— Лейтенант под танком!..

— Це?..

Оба — и Сафонов, и Чебурашкин — смотрели на окутанный дымом огромный немецкий танк. Крышка башенного люка открылась, показалась голова танкиста, плечи; немец, как видно, хотел выпрыгнуть из горевшего танка, но, скошенный пулей, наклонился и повис — ноги в люке, голова на броне. Кто-то из люка выталкивал его ноги. А с батареи продолжали вести огонь по танку. Бронебойным снарядом сорвало крышку люка, потом один за одним два снаряда попали в башню... Спокойный, уравновешенный Сафонов и порывистый, энергичный Чебурашкин — оба, затаив дыхание, смотрели на страшное зрелище, — горело железо черным зловещим дымом! — одинаково пораженные этим зрелищем, одинаково забывшие на миг, кто они и зачем здесь, одинаково не замечавшие, что немецкие автоматчики, пользуясь моментом, поднялись с земли и, улюлюкая во все горло, снова бросились к траншее.

— Сафонов, ты что? Что молчишь? — слышался позади крепкий бас младшего сержанта. — Заклинило?.. А ну дай сюда!.. — и в то же мгновение Сафонов почувствовал, как сильная рука Фролова рванула его за плечо.

Но пулеметчик уже сам увидел, что происходило впереди; прильнул щекой к пулемету и, стиснув зубы, зло, с наслаждением растягивая букву «р», процедил:

— Р-р-раз!..

Едва младший сержант Фролов отошел, Сафонов снова окликнул Чебурашкина:

— Чубук!

— Диск, дядя Ефим?..

— Послушай, Чубук... — Сафонов говорил в короткие паузы между очередями: — К танку проберешься?

— Зачем?

— Лейтенанта вызволишь и Размахина. Задохнутся... Ступай, огнем прикрою!

Чебурашкин с опаской посмотрел на танк, на изрытую воронками полуобвалившуюся, полуразрушенную траншею, как бы примериваясь, можно ли по ней пройти или нет, и, видя и понимая, что пройти почти невозможно, недовольно покосился на дядю Ефима и ничего не ответил.

— Ты что? — опять отрываясь от пулемета, спросил Сафонов, заметив перешителность молодого солдата. — Боишься?

— А чего мне бояться! — бледнея и заметно вздрагивая, но вызывающе расправляя худенькие, почти детские плечи, отозвался Чебурашкин и, как бы желая доказать, что он вовсе не трус и способен гораздо на большее, чем о нем думают, вышел из окопа и не ползком, не перебежками, а во весь рост, не сгибаясь, зашагал по траншее к танку. «Смотрите, я не боюсь пуль, но посылаете вы меня напрасно и еще пожалеете о моей смерти!..» — говорил он всем своим видом: прямой спиной, приподнятой головой, небрежно вскинутым на изготовку автоматом. Он весь холодел от страха и счастья, что может идти вот так, не сгибаясь под пулями, и действительно был готов к смерти и не думал, что останется жив, и только прислушивался к себе, куда, в какое место войдет пуля — в грудь? в живот? а может, в ногу, и тогда... Сперва всеми его действиями руководила только обида на дядю Ефима, который послал его к танку, в этот ад, под пули, но, очутившись под пулями, слыша их ядовитое жужжание и посвист и сознавая, что он не боится ни этих звуков, ни самих пуль, Чебурашкин уже захотел бросить вызов не только дяде Ефиму, а всем людям. Он так захотел, потому что на всех был обижен за то, что приходилось ему испытывать в эту секунду. «Меня убьют. Смотрите и ужасайтесь, люди, что вы со мной сделали!..» Но пули пролетали, тихими, притушенными шлепками вбивались в глину, и он шел, шаг за шагом убыстряя движения, и уже жажда жизни брала верх над обидой, а мысль о том, что люди, увидев его, молодого солдата Чебурашкина, мертвым, должны ужаснуться, отходила на задний план, угасала; он

торопился к повороту траншеи — за поворотом можно лечь и продвигаться перебежками, и дядя Ефим ничего не будет видеть, никто не будет видеть, только быстрее к повороту...

— Ложись! — вслед ему кричал Сафонов. — Ложись, дурак чертов, убьют!

Но Чебурашкин уже скрылся за поворотом, и долго его не было видно. «Погиб», — с досадой подумал Сафонов и, словно желая отплатить немцам за смерть Чебурашкина, без передышки, одной длинной очередью выпустил по ним весь диск.

Что было потом, Сафонов не помнил: немцы несколько раз поднимались и бросались в атаку, залегали, снова поднимались, и он стрелял, опоражнивая диск за диском; ни о Чебурашкине, ни о лейтенанте и Размахине некогда было думать, все смешалось в горячке боя, и только одно хорошо ощущал он — пот в ладонях. Неприятно липло к руке нагретое ложе пулемета, непослушно выскальзывали из пальцев диски, он спешил, вытирал пальцы о полу гимнастерки, но тут же проводил ладонью по лбу, и рука опять становилась мокрой и липкой. Сафонов стрелял один. Оба других взводных пулемета молчали. Но и у Сафонова кончались диски, и он беспокойно оглядывался, отыскивая глазами командира отделения. В той щели, откуда младший сержант Фролов вместе с Шаповаловым бросали гранаты, вроде никого не было; но это Сафонов просто не видел их; младшего сержанта легко ранило в голову, и Шаповалов торопливо накладывал повязку.

— Быстрее, — просил младший сержант. — Да быстрее ты, пулеметы молчат!

Фролов не дождался конца перевязки, вскочил и побежал к пулеметам. В окопе, где находился расчет бывшего штрафника ефрейтора Кокорина, оба — и сам Кокорин, и его второй номер Узгин — лежали мертвые; из глины высовывался искорверканный взрывом ствол пулемета. В третьем расчете пулеметчик тоже был убит, но пулемет целехонький стоял на бруствере, а второй номер, солдат Щербаков, тот самый, с бородавками на пальцах, что вчера утром под смех товарищей рассказывал про баночку со вшами, вместо того чтобы заменить пулеметчика и стрелять самому, сидел без сапог на дне окопа и привязывал новую белую портянку к автомату. Когда в окопе появился младший сержант Фролов, Щербаков, испуганный и бледный, не ожидавший, видно, никого, кроме немцев и своей смерти, попятился, прикрывая рукой голову, словно боясь удара. Мгновение младший сержант стоял у входа, разглядывая брошенный автомат и привязанную к нему белую

портянку, потом нагнулся, сорвал портянку, швырнул ее под ноги и, оттолкнув Щербакова, подбежал к пулемету. Он понял, что хотел сделать Щербаков, и от гнева готов был избить и даже пристрелить трусливого солдата, но к траншее подбирались немецкие автоматчики, за бруствером уже слышались их голоса, и нельзя было терять ни секунды; только выпустив длинную очередь, Фролов оглянулся и гневно пробасил:

— Диски готовь, сволочь!..

Босой, бледный как смерть Щербаков вдруг принялся работать с таким проворством, с каким он еще никогда ничего не делал в своей жизни.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Пашенцев лежал на траве, в нескольких шагах от окопа; хотя за все время схватки ни на секунду не терял сознания, не был ни ранен, ни контужен, — сейчас, прислушиваясь к приглушенному рокоту удалявшихся к развилке танков, прислушиваясь к вдруг возникшей вокруг тишине, ощущал в себе то счастливое пробуждение жизни, какое всегда приходит после напряженной и тяжелой работы. Это ощущение было во всем: в сухой, пахнувшей зноем земле, к которой он прижимался щекой, в утреннем солнце, тепло пригревавшем спину, в том неожиданном ветерке, ласково скользнувшем за ворот гимнастерки и обдавшем прохладой потную шею; Пашенцеву казалось, что он лежит так давно, но он лежал всего несколько секунд — наступило как раз то короткое затишье, как между двумя волнами, когда одна уже отгремела, а вторая только накатывалась, набирала силу, и этой второй были оставшие от своих танков немецкие автоматчики. Они бежали густой цепью и не стреляли, уверенные, что путь для них расчищен. Но соломкинцы уже поднимались из полуобвалившихся, разбитых и проутюженных танками щелей, стряхивая пыль и страх только что пережитой танковой атаки, уже по траншее, словно хруст веток, прокатился щелкающий звук затворов, и черные, еще не успевшие остыть от недавней стрельбы стволы ручных пулеметов, винтовок, автоматов зашевелились над бруствером. Сейчас они полоснут свинцом по наступающей цепи... Пашенцев лежит неловко, поджав под себя руку; вспотевшими пальцами ощущает теплое и липкое ложе автомата. Перед глазами неподвижно торчит опаленный стебелек. По стеблю вверх и вниз бегают муравьи. Он необычно

прозрачен и нежен в лучах солнца, коричневое тельце его, кажется, просвечивается насквозь. Он мечется по стеблю вверх и вниз, будто и ему неспокойно на этой огромной неуютной земле, и он не может найти себе места. Под стеблем еще парит, остывая, большой шершавый осколок. За осколком, дальше — опять опаленная трава, и в траве — распластанное, заслонившее весь горизонт тело солдата. «Пяткин! Это же старшина Пяткин!» В откинутой за голову руке, в разжатой ладони, виднеется слегка присыпанная землей связка гранат. Гранаты стянуты поясным ремнем. Ярко, как зеркальный глазок, поблескивает на солнце пряжка, и ее блеск, и серую, отглянцованную правкой бритв полоску ремня, и запекшуюся кровь на пальцах, на погтях ясно видит Пашенцев; несколько мгновений он еще смотрит на эту связку, будто она может что-то объяснить в гибели старшины... Неподалеку стоит подорванный танк, большой, пятнистый, с размотанной гуссницей и еще работающим мотором.

«Я видел разные танки: черные, какими они, вероятно, сходят с конвейеров, белые, облитые известью...» Этот был пятнистый, как плащ-палатка разведчика. На броне, словно на карте, темнели пизменности, желтели пустыни, коричневыми зигзагами петляли горные хребты, и на хребтах клеймом смерти лежала черная свастика; концы ее, как ноги паука, спускались в долины... Может быть, на вращающейся башне танка действительно были нарисованы континенты земли, выражено то фантастически безумное Lebensraum Германии, та сумасбродная идея, которую, как некий эликсир, впрыскивают в мозги вот уже которому поколению немцев, идея, которую Гитлер возвел в абсолют, — м и р о в о е г о с п о д с т в о; может быть, десятки раз была повторена на этой вращающейся башне сама Германия, раздавленная и задущенная свастикой; но может, это были всего лишь бесформенные желтые, зеленые, коричневые пятна, наляпанные безразличным маляром для маскировки, — танк приближался, пятнистый, большой, отчетливо видимый издали и близко (тот, кто накладывал краски, не знал русской природы), исцарапанный пулями и снарядами. Он надвигался прямо на окоп; он пришел сюда с Рейна, этот пятнистый «тигр», рожденный в цехах крушовских заводов; гремели марши, когда его грузили на платформу, тысячи рук дотрагивались до его холодной брони, тысячи бюргерских глаз и глаз полногрудых фрау, охваченных тем же безумием — Le-

Lebensraum, как фюрер, с благоговением и надеждой смотрели на него, уходящего с эшелоном на Восток; тысячи проклятий сыпались ему вслед, когда он, окутанный брезентом, продвигался по польской земле; около него на платформе появился часовой, когда эшелон пересек русскую границу; под Смоленском взлетел в воздух впереди идущий состав; на товарных туниках белгородского вокзала рухнули под ним подпиленные деревянные стойки разгрузочной площадки; ночью, на хуторе под Тамаровкой, чьи-то мальчишеские руки подложили под его гусеницу старую проржавелую пехотную лимонку; еще не сделав ни одного выстрела, как и сотни его пятнистых и непятнистых собратьев, он уже усеял свой путь от Рейна до Северного Донца трупами — хватали всех, кто намеренно или ненамеренно оказывался возле эшелона, вешали, расстреливали, отправляли в концлагеря; броня уже обрызгана кровью, и художник ошибся, малюя желтые, зеленые, коричневые пятна. Этот самый «тигр» надвигался сейчас на окоп, и два глазка, две прорези — водителя и стрелка — в упор смотрели на Пашенцева. Кто был за этими прорезями, кто вел танк? Убежденный нацист или обманутый бюргер, чье Lebensraum у себя на родине куда больше, чем то, в три аршина с березовым крестом у изголовья, которое ему было уготовано в России; или сидел за рычагами управления тот самый поэт, не хотевший умирать и не желавший никому смерти, тот улыбающийся унтер-офицер Раймунд Бах, о котором спустя пятнадцать лет Генрих Бёлль жалостливо напишет: «Он сгорел в танке, обуглился, превратился в мумию...» Спустя пятнадцать лет после войны Германия, описанная Бёллем и Ремарком, будет вызывать сострадание у тех, кто не видел, как рвутся бомбы, как горит земля и умирают солдаты. «Потерянное поколение, потерянное поколение!..» Оно было потерянным в четырнадцатом, а потом был сорок первый! В старом Муроме, у окна с видом на красную станционную водокачку, спустя пятнадцать лет после войны полковник в отставке Пашенцев скажет своему внуку: «Ты еще не читал Льва Толстого, а уже взялся за Ремарка, ты не можешь судить о войне!» У того же окна с видом на станционную водокачку он будет стоять и думать: «Улицы Бонна наводняют военные, с идеи Lebensraum снова стерта архивная пыль. Снова безумие охватывает Германию и барабанный бой разносится по Европе. Колонны маршируют под окнами, где творит Генрих Бёлль. Опять — потерянное поколение, вдовы и сироты войны... А сражение на Барвенковском? А битва под Курском? Когда, чьим отцам

суждено поставить точку?..» — будет стоять у окна и смотреть на проходящие поезда; война не пометила его дом с м е р т ь ю, у него есть жена и внук, жена, которая по шесть месяцев в году лежит в туберкулезной больнице, и внук, с упоением читающий Ремарка... Все это будет, и полковник в отставке примется за мемуары, а пока — он еще никакого представления не имеет о том, что будет. «Тигр» в пяти метрах от бруствера; кажется, Пашенцев даже видит глаза тех, кто направляет на окоп эту лязгающую махину, нацеливает жерло орудия. Мгновение — и черное днище, как заслонка, с грохотом захлопнется над окопом, мгновение — и все потонет в пыли и чадном дыму. Каждый раз наступает в бою такая минута, когда Пашенцев не может командовать ротой — ничего не видно: ни справа, ни слева, ни впереди, ни позади; каждый окоп превращается в маленькую самостоятельную крепость; сознание исчезает, и овладевает тысячелетний инстинкт предков: «Я или меня!..» Пашенцев успел еще раз окинуть взглядом окоп и оценить прочность стен, успел рассмотреть, что делали Ухин и Пяткин: старшина поясным ремнем стягивал связку гранат, а Ухин, бледный, продувал телефонную трубку; успел подумать, что старшина всегда был храбрым, что он обязательно швырнет связку в танк и подорвет его, что еще в т о м бою надо было представить его не к медали «За отвагу», а к «Звездочке», а Ухин — этот не совершит подвига, его и раньше, в том бою, пришлось под пистолетом посылать на линию соединять порывы; успел вспомнить: «Отец погиб на германской. Мать знала и день, и час, когда он был убит, знала еще до того, как получила похоронную. В этот день она была в поле, жала; упала на полосе и схватилась за сердце; соседи отливали ее водой. Потом мать всю жизнь рассказывала о своем предчувствии... Что будет с женой и Андрюшкой, если танк сейчас придавит меня в окопе?» — и об этом успел вспомнить и подумать и даже представить в мыслях дом, подъезд, комнату с окном на водокачку — сейчас там тоже утро, Андрюшка смотрит в окно, а жена схватилась за сердце и присела на стул. «Что с тобой, мама?» — «Ничего, пройдет. Может быть, с отцом что-нибудь?» — скажет эти слова и потом всю жизнь будет вспоминать о своем предчувствии... «Тигр» с ревом и скрежетом перевалил через бруствер и накрыл днищем окоп. И сразу такое ощущение, будто поезд неожиданно на полном ходу ворвался в туннель: и громче грохот, и притупленней, и угарный дым от паровоза вползает в оконную щель, а перед глазами мелькают желтые пятна туннельных фонарей, и чувство опас-

ности обострено — вдруг своды рухнут? — и эта опасность кажется смешной, потому что своды никогда не рухнут, тысячи составов прошло и еще тысячи пройдут под ними, потому что — сколько раз пропускал Пашенцев вражеские танки через свой окоп, а потом бросал им в хвост гранаты. Это же он собирался повторить и сейчас, но его опередил старшина Пяткин. Старшина выпрыгнул из окопа — Пашенцев хорошо видел, как выпрыгнул старшина, как размахнулся, чтобы бросить связку гранат, как затем припал на колени и еще с колена хотел размахнуться, но только беспомощно откинул руку и повалился на траву. «Убит!» — это слово ворвется в сознание чуть позже. «Старшина лежит, танк уходит!» Пашенцева словно волной выбросило из окопа, он еще пробежал несколько шагов и метнул в уходивший танк гранату.

Неожиданно Пашенцев почувствовал, как кто-то будто задел его локтем; потом слышались звякающие удары автомата о кочки и характерный, потрескивающий шорох встающего человека. Пашенцев мгновенно поднял голову и увидел связиста Ухина. Вся наклоненная вперед — на старт! — грузная фигура связиста была залита ярким солнцем; утренние лучи словно помолодили серое, всегда угрюмое лицо старого иртышского лодочника. Но ни обновленная светом и просоленная в рубцах гимнастерка, ни волосатые с бугристыми и синими венами руки (о таких в народе говорят — жилистые!), ни отливавший вороненым блеском автомат, а лицо, именно лицо Ухина поразило Пашенцева своей необычной чистотой и ясностью мысли. Связист только что казался бледным и жалким, а в том бою его приходилось под пистолетом посылать на линию соединять порывы, но это было в том бою, тогда Ухин был новичком, а после того боя Пашенцев не мог припомнить, чтобы Ухин еще когда-либо трусил; он бледнел, но шел на линию; однажды даже сам вызвался пойти — да, было такое; сейчас, глядя на всю наклоненную вперед — на старт! — грузную фигуру связиста, капитан вспомнил об этом. Ухин смотрел на выпрыгнувшего из танка (танк с размотанной гусеницей и еще работающим мотором медленно охватывался огнем) и бегавшего в дыму немца, и в глазах, прищуренных от бьющего света и больше — от лютой ненависти, в суровой скобке рта, в подбородке, злобно выдвинутом вперед, — во всем чувствовалась решимость; он готов был броситься за немцем и схватить его, и только как человек со сноровкой, привыкший действовать

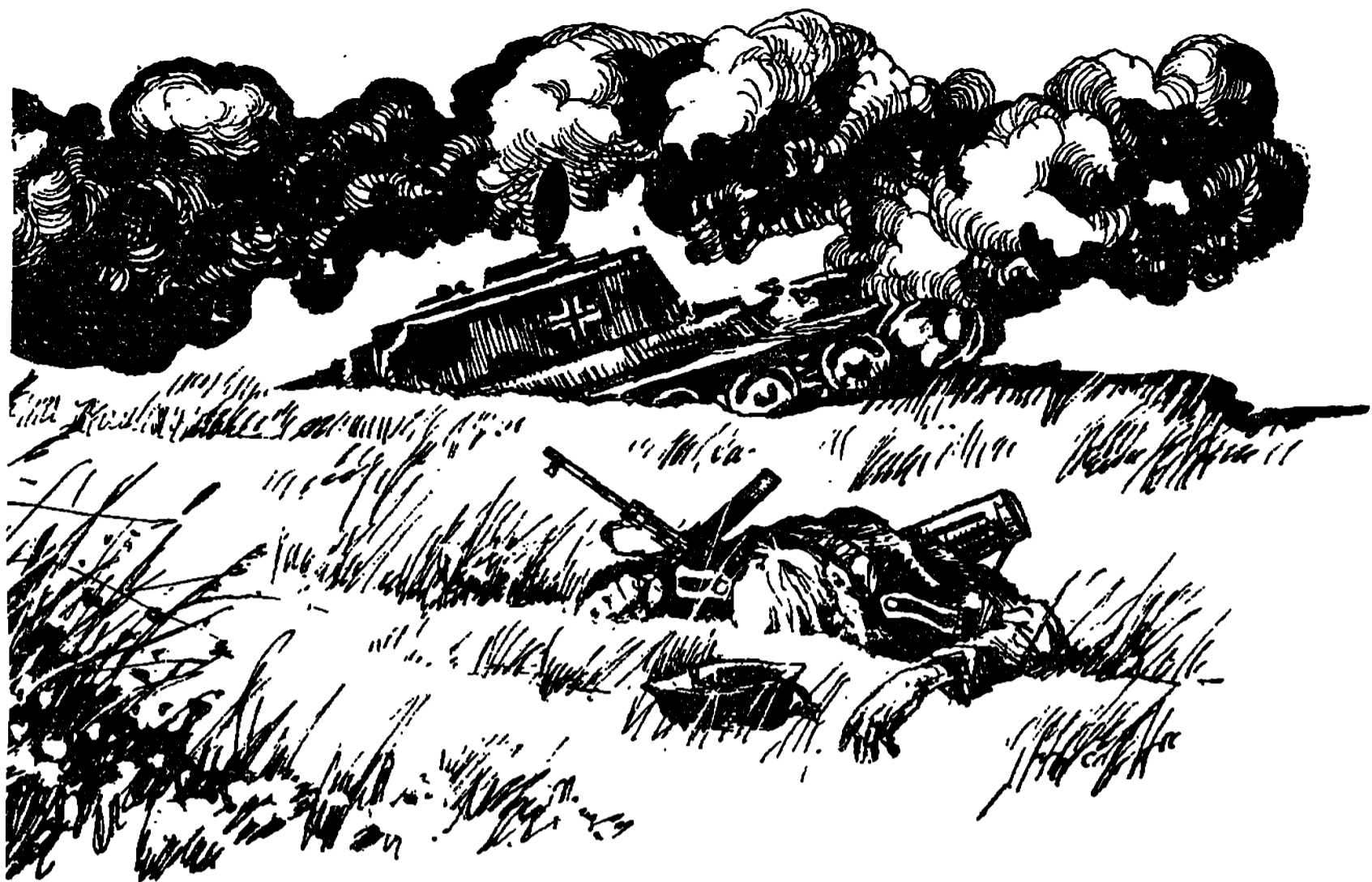


наверняка, выжидал удобный момент для нападения. Эту решимость и прочел Пашенцев на лице связиста.

Ухип рванулся вперед и потонул в черном дыму чадившего танка, и только совсем понизу, между землей и дымом мелькали его кирзовые сапоги, а чуть пониже — сапоги убежавшего немца. За ожившей траншеей немецкие автоматчики продолжали атаку, теперь уже захлеб полосуюя из автоматов, и звонкие, как осы, пули цокали по сухой траве. Бой нарастал. Пашенцев обернулся и взглянул на дымившееся поле: вся траншея, все окопы и окончики, весь вытянутый от березового колка до стадиона желтый, рассеченный воронками бруствер жил, стрелял, клокотал белыми огоньками очередей.

— Дёржатся! — прошептал Пашенцев, одновременно относя это слово и к ручным пулеметам, стрелявшим с запасных, которыми, как он все еще полагал, командовал посланный туда лейтенант Володин, и к правому флангу, яростно отбивавшемуся отседавших немцев, и к левому, ко всей роте, всему батальону, всей соломкинской обороне.

— Дёржатся!
— Дёржатся!
— Дёржатся!



Не записанное ни в одном уставе, оно произносилось в этот день всеми, от солдата до генерала, во всех частях — пехоте, артиллерии, авиации, на всех участках Воронежского и Центрального фронтов; его повторяли в разрушенных окопах, горевших танках, на изрытых воронками батареях; его с нетерпением ждали на командных пунктах, в штабах, это слово — «держатся!». Оно передавалось из уст в уста на пыльных дорогах, запруженных подходившими к фронту войсками. Его повторяли командующие фронтами, читая боевые донесения частей; это короткое слово, вместившее в себя целые сражавшиеся полки, дивизии, армии, было в этот день, первый день Курской битвы мерилom подвига и славы.

Рота Пашенцева еще держалась, отбивала атаку, но положение с каждой минутой становилось хуже. Немецкие автоматчики, наткнувшись в центре на сильный пулеметный огонь, повели наступление в обход, на правый фланг. Они стремились во что бы то ни стало прорвать оборону и выйти вслед за танками к развилке, к шоссе. На правом фланге, на стыке двух рот, стоял вкопанный в землю наш танк. Он должен был орудийным и пулеметным огнем прикрывать пехоту. Но танк молчал, еще при бомбежке ему заклинило башню, и теперь

танкисты под огнем ремонтировали ее. Можно бы поддержать правофланговцев минометным огнем, но, во-первых, вся связь нарушена, провода изорваны в клочья, и, пока связисты, ползая на животах, восстановят линию, пока Пашенцев созвонится с минометчиками и сообщит им координаты, стрелять уже не будет никакой необходимости — гитлеровцы прорвут оборону; во-вторых, сделать это было невозможно еще и потому, что минометной батареей уже не существовало (Пашенцев, разумеется, не знал и не мог знать этого), танковая лавина прошла через батарею, и комбат минометчиков с перевязанной шеей ходил сейчас по огневой, перешагивая через раздавленные трупы своих солдат, и рассматривал сплюснутые, как блины, минометы.

Чем дольше вглядывался Пашенцев в поле боя, тем яснее представлялась ему опасность, нависшая над ротой. Он понимал, что нужно немедленно что-то предпринять, чем-то помочь правофланговцам, иначе они не выдержат и отойдут под напором атакующей волны автоматчиков, потом придется отводить всю роту, весь батальон и, может быть, сдать Соломки немцам, открыть им путь к шоссе, — Пашенцев отлично понимал это, но вместе с тем не видел возможности, чем и как помочь. А минуты шли, и каждая упущенная могла решить исход боя. Тогда Пашенцев и предпринял ту контратаку, которую хорошо видели с командного пункта дивизии, — член Военного совета фронта, находившийся как раз на КП, не отрывая бинокля от глаз, сказал командиру дивизии: «Там совершается подвиг!» — предпринял ту смелую контратаку, за которую в тот же день был представлен к ордену Александра Невского. Позднее, когда его расспрашивали об этой контратаке, он и сам удивлялся вместе с теми, кто задавал вопрос: как все получилось?

«Немцы обходили пулеметные гнезда, образовалась брешь, вот в эту брешь...»

«С восемнадцатью солдатами?!»

«Да. Но ведь я не знал, что от взвода осталось всего восемнадцать...»

По тому же ходу сообщения, по которому лейтенант Володин пробирался к пулеметным гнездам, бежал Пашенцев к траншее; те же серые, землистые солдатские лица, опутанные белыми бинтами, смотрели на пробегавшего командира роты, и Пашенцев узнавал и не узнавал своих солдат; так же, как и Володин, на секунду задержался перед убитым санитарным инструктором роты Жихаревым, в открытые мертвые глаза

которого по-прежнему сыпались красные комочки глины и прилипали к роговице; пробежал мимо бронебойщиков Волкова и Щеголева, у которых на стенке окопа было уже нацарапано семь глубоких борозд — семь удачных попаданий; встретил Чебурашкина, который нес на спине чье-то обвислое и странно вымазанное в саже тело, и сам Чебурашкин тоже, казалось, был весь в саже, копоты и мазуте; потом столкнулся с Белошеевым, отгребавшим у себя из-под ног стреляные гильзы, и остановился — здесь центр, отсюда надо вести контратаку! «За мной!» — подал команду по цепи, вскарабкался на бруствер и, уже стоя во весь рост на бруствере, еще раз взмахнул автоматом и крикнул: «За мной!» Он не оглянулся, чтобы узнать, побегут ли за ним солдаты; и когда бежал, не оглядывался и не прислушивался, раздается ли за спиной топот сапог; падал, поднимался и бежал, и каждый раз, поднимаясь, повторял один и тот же увлекающий, зовущий, указывающий направление жест — вперед! В какое-то мгновение увидел рядом с собой младшего сержанта Фролова с тяжелым ручным пулеметом наперевес — глаза Фролова сияли весельем, как у разгулявшегося парня; следом за младшим сержантом, не отставая от него ни на шаг, бежал Щербаков, тот самый с бородавками на пальцах солдат, десятки раз рассказывавший смешную историю о баночке со вшами, тот перепуганный насмерть солдат, только что привязывавший белую портянку к автомату, — и портянка, и сапоги так и остались в окопе, а он, босой, неся по стерне, не чувствуя уколов, и белые тесемки от кальсон развевались и били по икрам; бежал Сафонов, как на учениях, огромными прыжками, и пулемет держал, как на учениях, одной рукой, а другой диски, и сошка была подогнута, чтобы не задевала за кочки; бежало восемнадцать человек — все, кто еще был жив из взвода Володина, и в самом конце этой маленькой контратакующей группы, в самом хвосте, догонял своих Чебурашкин.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В стереотрубе, как на экране, все приближено и увеличено; словно цветной фильм смотрит Табола, с той только разницей, что сам выбирает нужные кадры; у фильма два сценария — наш и вражеский, два постановщика — командующий Шестой гвардейской армией генерал-лейтенант Чистяков и командующий второй немецкой танковой армией генерал-полковник

фон Шмидт — и сотни операторов — командиров подразделений, — операторов и участников, как и подполковник Табола, прильнувших к биноклям и стереотрубам, смотревших и снимающих на ленту памяти эти суровые кадры войны. В двух полушариях стереотрубы проплывает желтая линия траншеи: комья навороченной земли, серые, с оголенными корешками трав, красные, глинистые, выкинутые взрывом из глубины, черный дым, сползающий в воронки, вмятины гусениц, брошенный автомат на бруствере, чья-то каска, чей-то тлеющий вещмешок, тлеющая шинель, тлеющая гимнастерка на убитом солдате... Восемнадцать смельчаков поднялись в контратаку. Они бегут по стерне к гречишному полю; они так и попали в полушария стереотрубы уже бегущими, и Табола удивился, увидев эту серую цепочку солдат, потом с досадой подумал: «Куда? На смерть!» — потом, в следующую секунду, когда понял их замысел, тихо похвалил: «Черти!»

К развилке стремительно мчится танковая лавина. Подполковник поворачивает стереотрубу и видит, как серые шлейфы пыли вскипают за танками.

У подполковника Табола сложилось свое отношение к войне. На всю жизнь запомнился ему пожелтевший книжный листок, найденный в партийном билете убитого солдата. Было это осенью сорок первого, как раз после сдачи Киева, когда он с группой — пятьдесят человек — генерал-майора Баграмяна выходил из окружения, пробивался к Гадячу. Вот что было написано на листке: «В 1240 году явился Батый под Киев; окружила город и о с т о л и л а сила татарская, по выражению летописца; киевлянам нельзя было расслышать друг друга от скрипа телег татарских, рева верблюдов, ржания лошадей. Батый поставил п о р о к и подле ворот Лядских, потому что около этого места были дебри; пороки били беспрестанно день и ночь и выбили наконец стены. Тогда граждане взошли на остаток укреплений и все продолжали защищаться; тысяцкий Дмитрий был ранен, татары овладели и последними стенами и расположились провести на них остаток дня и ночи. Но в ночь граждане выстроили новые деревянные укрепления около Богородичной церкви, и татарам на другой день нужно было брать их опять с кровопролитного бою. Татары окончательно овладели Киевом 6 декабря...» Наискось через всю страницу виднелась четкая каллиграфическая надпись: «В е к а не с т и р а ю т п о з о р а н а й и!» Подавленный и опустошен-

ный, как многие, кому пришлось отступать в сорок первом, видеть сожженные города и села, вереницы беженцев, русских людей, уходивших с насиженных мест, спасавшихся от плена, — подавленный и опустошенный, еще не примирившийся с тем, что Киев разрушен, горит и по Крещатику маршируют немцы, что армия, защищавшая город, державшая фронт, в смятении откатывается на восток, что, вернее, армии нет, а есть отдельные солдатские толпы по лесам и у переправ, что штаб фронта потерял все связи со штабами корпусов и дивизий (Табола еще далеко не полностью знал обстановку), а сам командующий фронтом генерал-полковник Кирпонос смертельно ранен и окружен у хутора Дрюковщина, окружены вместе с ним член Военного совета фронта секретарь ЦК Украины Бурмистенко, начальник штаба фронта генерал-майор Тупиков, и выручить их уже нельзя, — подавленный и опустошенный, в лесу, на привале, при слабом свете холодной сентябрьской зари, прочел Табола пожелтевший листок из истории России и каллиграфическую надпись на нем и с желчной усмешкой передал товарищу. «С высоты веков легко клеймить: «Позор!» — а если неумоготу?.. Если он прет, как саранча?..» Товарищ не вернул листок, пустил по рукам; потом — короткий бой, и все забыто; и только в Гадяче, когда группа, с которой Табола пробивался, вышла из окружения и он, живой и невредимый, ожидал дальнейших распоряжений, бродил по улицам города и впервые за много недель мог спокойно поразмыслить над событиями, вспомнил и листок, и утро в лесу, и убитого солдата-историка, чей партийный билет он сдал в политотдел стрелкового корпуса, стоявшего в городе; вспомнил и каллиграфическую надпись: «В е к а н е с т и р а ю т...» Кто написал эти слова — тот ли убитый солдат, смотревший перед смертью на горящий, занятый немцами Киев? Или он тоже где-то подобрал этот листок и как самый драгоценный документ положил в партийный билет? К чему относились слова о позоре и нации к захвату ли татарами Киева, древней столицы Руси, или еще к чему-то более объемному и важному — нация не объединилась, не отстояла свою свободу и двести пятьдесят лет гнула спину перед татарами? Историк, записавший эту, может быть, случайную, может быть, глубоко продуманную и осознанную мысль, не оставил пояснений. Может быть, он, движимый самыми лучшими порывами, по-своему, как умел, предостерегал русский народ от фашистского рабства и этими горькими словами «несмываемый позор» звал на смертный бой? Для Табола ясно было одно — чтобы избежать позора, нужно

усилие всего народа, всех от мала до велика! Хотя об этом и радио, и газеты твердили с первых дней войны, Табола только теперь по-настоящему осознал эту величайшую необходимость для всех времен и поколений; он пришел к этой мысли самостоятельно, как философ, открывший истину; ему казалось, что именно сейчас он понял, что такое Родина, долг и честь гражданина; далекая история и то, что совершалось на глазах, — все для него слилось в одно неразрывное целое; он был лишь артиллерийским капитаном, которому еще предстояло принять дивизион, угрюмый и молчаливый, бродил по улицам Гадяча — заросший артиллерист с трубкой во рту! и мысленно повторял: «Единство! Только единство!» Он уже не испытывал того отчаяния, как после сдачи Киева; в нем пробудились ненависть, упорство и жестокое презрение к трусливым людям; когда слышал реплики: «Лучше умереть, чем видеть, как бежит наша армия!» — ядовито усмехался. Смерть — это удел трусов; смерть, даже геройская, это не оправдание для будущих поколений; надо жить и победить! «Только единые усилия...» Табола принял дивизион и снова в бой; его дважды ранило, и дважды он не покинул командного пункта; с той осени в Гадяче, когда он понял смысл борьбы, до конца войны не подумал об отдыхе и тыле.

Было сражение на Барвенковском выступе.

Был бой под Малыми Ровеньками.

«Фашистские полчища!.. Татарские орды!..»

Табола не забыл об этом сравнении. Через год, когда фронт передвинулся к берегам седой Волги и он уже в чине майора командовал артиллерийским полком, снова прочел ту же страницу о татарском нашествии, только теперь это был не отдельный пожелтевший листок, а хорошо переплетенная, с кожаным корешком книга. Он подобрал ее недалеко от корпусов Тракторного, в развалинах одного дома, в полуподвальном помещении, где несколько часов подряд располагался наблюдательный пункт полка. Книжки валялись в углу, их топтали, на них сидели, лежали; Табола расшвырял их сапогами, расчищая место для стереотрубы; во время короткой передышки между атаками поднял одну, открыл наугад и с изумлением прочел: «...жители городов и сел русских, лежавших на пути, выходили к ним навстречу со крестами, но были все убиваемы; погибло бесчисленное множество людей, говорит летописец, вопли и вздохи раздавались по всем городам и волостям» Взглянул выше: «...татары положили их под доски, на которые сели обедать». Взглянул еще выше: «...русские потерпели повсюду со

вершенное поражение, какого, по словам летописца, не бывало еще от начала Русской земли». Потом прочел всю страницу. Потом немцы начали седьмую по счету атаку в этот день, и уже было не до книги. Но Табола взял ее с собой. Она и сейчас хранилась в его подполковничьем планшете вместе с боевой картой.

Одно обстоятельство особенно поразило Табола — татары положили связанных русских ратников на землю, настелили на них доски и пировали на этих досках. Ратники сначала кричали, потом притихли; они все погибли под досками. Победители глумились над побежденными! Табола так представлял себе эту картину: огромное поле, огромное скопище кривоногих татар, они связывают и рядами валят пленных... хотя фактически, как сообщал летописец, под досками лежали только князья; Табола не уточнял подробности; ему казалось, что всех, кто сдался в плен, постигла такая участь; он так отчетливо воображал себе эту картину, что даже слышал глухие проклятия, стоны и хруст ломавшихся костей. Эта картина каждый раз возникала в памяти, когда он смотрел на атакующие немецкие цепи, на фашистские танки, с ревом накатывавшиеся на позиции; угловатые каски, и сами фигурки автоматчиков, сизые, пригнутые, напоминающие толпы кровожадных татар, и танки в этой толпе, как пороки — задранные бревна на колесах, которыми татары разбивали городские стены, — танки, как пороки, с тонкими задранными стволами, — словно из глубины веков поднялась вся эта дикая, кровожадная лавина и хлынула на русскую землю; не под досками, под гусеницами будут хрустеть и переламываться кости; Табола почти физически ощущал на своей груди эту тяжесть досок и гусениц, и тем сильнее назревали в нем протест и жажда биться. Варвары! Пожалуй, только это слово могло отразить все чувства и мысли, весь гнев, который испытывал Табола к фашистам.

Цивилизованные варвары!

Однажды утром весь мир узнал о том, что сделали фашисты с партизанкой Зоей; с газетного снимка смотрело на людей мертвое девичье лицо; садизм Запада оказался куда изощреннее садизма Востока; пепелища, пепелища, трупы мирных людей по обочинам дорог, рвы, заполненные человеческими телами; Табола не преувеличивал, сравнивая фашистов с дикими татарскими племенами, он сам был дважды в окружении и дважды выходил из него; но одного он не подозревал тогда — наивным покажется это сравнение, когда загремят обвинительные речи на Нюрнбергском процессе, когда тайна концлагерей

и лагерей смерти перестанет быть тайной и у опечатанных крематориев встанут часовые, охраняя, как вещественное доказательство, печи и пепел сожженных тел; когда ужасы рвов-могил, нумерованных и нenumерованных, отрытых в полях России, по всей Европе, где только ступала нога гитлеровцев, эти потрясающие кладбища с грудami изувеченных тел, расстрелянных, задушенных, умерщвленных, ни в чем не повинных мирных жителей городов и сел, стариков, женщин, детей, раздетых донога, осмеянных, униженных, обобранных, — ужасы рвов-могил — тысячи откопанных мертвецов! — заставят содрогнуться мир. Табола доживет до этого дня и усмехнется, как наивно было сравнивать фашистов с татарскими ордами! Фашистов ни с кем нельзя сравнить, потому что человечество не может припомнить в своей истории еще другого такого факта, равного по количеству совершенных злодеяний людьми над людьми. Доживет и прочтет сообщение о начавшемся в Тель-Авиве процессе над фашистским преступником Эйхманом, тем самым «бухгалтером смерти», который одним росчерком пера сотнями, тысячами бросал пленных и заложников под пулеметы, который, если верить очевидцам, так сказал о себе: «Я с улыбкой сойду в могилу, потому что уничтожил шесть миллионов душ!» Доживет и увидит, как суд над палачом превратится в судилище, мировая общественность с гневом назовет преступника под бронированным стеклянным колпаком и судей сообщниками, и Табола присоединится к этому мнению. С еще большим возмущением и гневом услышит однажды, что Адольф Хойзингер, один из приближенных генералов Гитлера, тот самый каратель, свирепствовавший в Белоруссии и на Украине, разрабатывавший стратегические планы порабощения народов и подписывавший лично приказы о массовых расстрелах и казнях, — этот фашистский преступник вновь получил военный пост; его резиденция в Вашингтоне; он снова вынашивает чудовищные планы войны. «Люди! Народы! Уроки истории забывать нельзя!» Седой генерал в отставке, решивший вдруг под старость изучить историю, седой генерал Табола, который сам мог бы оставить потомкам изумительные страницы, в ночной тишине рабочего кабинета прочтет фразу Наполеона, сказанную в Тильзите о Фридрихе-Вильгельме и Германии: «Подлый король, подлая нация, подлая армия, держава, которая всех обманывала и которая не заслуживает существования», — прочтет в книге Тарле «Наполеон» и задумается над этой фразой. Прав ли Наполеон? Нет, не это будет важным для седого генерала; он не согласится с высказыванием корсиканца,

который в свое время сам залил кровью поля Европы, — «великий» корсиканец мог говорить так, потому что для него нации и народы были только пешечными полками, — отставной генерал Табола с беспокойством подумает о тех немцах, западных, где опять раздаются реваншистские голоса. «Ужасы войны не должны повториться! Нация, которая в течение полувека позволит снова, в третий раз, втянуть себя в авантюру реванша, — заслуживает всякого осуждения!» — Табола запишет это на газетном листке, над столбцами с черным крупным заголовком: «Бонн требует атомное оружие».

Цивилизованные варвары!

Танки не прошли к шоссе. От развилки они повернули к северной окраине стадиона, потом ворвались в пустынную улицу и с грохотом помчались по селу. Если бы те, кто находился на командном пункте батальона, не кинулись бежать, немцы наверняка не заметили бы ни окопов, вырытых в стороне от дороги, на огороде, и хорошо замаскированных, ни блиндажа с пятью накатами, крыша и вход в который успели за весну зарости крапивой; танковая лавина просто прогромыхала бы по пустынной улице, наткнулась на артиллеристов Табола, на заградительный противотанковый огонь и, не выдержав, отхлынула назад, к гречишному полю, как отхлынули от траншеи автоматчики; но случилось как раз то, чего никак никто не ожидал; едва появились на улице танки, как все, кто были на КМ и кто в блиндаже, в панике бросились к развалинам двухэтажной кирпичной школы. За развалинами стояла наготове противотанковая батарея. Табола заметил бегущих, когда за ними гнался по огороду танк, строчил из пулемета, настигал и давил гусеницами.

В стереотрубе, как на экране, все приближено и увеличено: и танк, угловатый, приземистый, и черное жерло орудия, и маленький черный ствол пулемета, непрерывно кипящий белым пламенем, и лица бегущих, искаженные страхом и отчаянием... Ни сейчас, ни спустя полчаса, после боя, Табола так и не узнал толком, что произошло на командном пункте батальона. Оставшийся в живых начальник штаба, близорукий, сутуловатый лейтенант, бывший сельский учитель естествознания, растерянно бормотал: «Очки? Где очки? Где я выронил свои очки?» Кто побежал первым — сам ли майор Грива, или этот близорукий лейтенант, или еще кто-то из штабных; но, может быть, им просто нечем было защищаться, потому что все

противотанковые гранаты еще вчера вечером с п е ц и а л ь н ы м приказом по батальону были переданы в роты? Приказ этот, сочиненный тем же исполнительным начальником штаба и подписанный Гривой, уже никому не нужный, валялся в ходе сообщения, втоптаный каблуком в землю, а майор Грива, как был в блиндаже без гимнастерки, без пояса, так и бежал теперь впереди танка, впереди всех, с необычным для толстяка проворством перепрыгивая через плетни и канавы; белая рубашка его особенно была заметна на фоне зеленой огородной ботвы.

Бежали связисты.

Бежали солдаты охранного взвода.

«Так было под Малыми Ровеньками — танки расстреливали и давили обезумевших, метавшихся в панике по полю людей!»

Табола медленно поворачивает стереотрубу; кадры, которые мелькают перед глазами, не предусмотрены с ц е н а р и е м; сейчас, когда исход боя почти ясен, когда до победы остается всего несколько минут — одна последняя схватка артиллеристов с танковой лавиной, поредевшей, уже потерявшей свою ударную силу (на поле боя, как черные копны, горят подбитые танки), — перед самой победой это паническое бегство! В полушариях стереотрубы то видны ноги майора, короткие, полные, то голова, плечи, руки, багровая шея и белая сверкающая лысина, всегда потная, которую Грива тогда старательно промокал носовым платком, — теперь в его руках нет ни носового платка, ни пистолета. За майором гонится танк. Табола вспомнил все, что можно вспомнить об этом человеке, и неприятное чувство досады и злобы, ненависть ко всему трусливому — «Века не стирают позора нации!» — накипевшая в нем за долгие месяцы войны, теперь прорвалась одной желчной фразой: «Болван! Кусок мяса!» Он сказал мысленно; в ту секунду, когда произносил эти слова, еще не знал, спасет или не спасет майора, только чувствовал, что должен спасти, потому что этого требует человеческий долг. Жалко было даже преступника, которого подводят к стенке, а тут... За развалинами двухэтажной кирпичной школы стоит батарея. Крайнее слева орудие можно выдвинуть вперед, на небольшую площадку, и тогда — прямой наводкой уничтожить этот гонящийся за людьми по огороду вражеский танк. Табола четко представлял себе, как это будет. Площадка ровная, словно терраса, словно маленький полигон; он был на ней и вчера, и позавчера, и теперь видел ее в воображении — порыжевшую, выгоревшую траву, пыльную тропинку по диагонали, на которой до сих пор, наверное, сохранились следы его сапог; стрелять с площадки

хорошо, но и орудие будет открыто со всех сторон, как мишень; ни деревца, ни кустика, ни окопа, ни воронки; впрочем, воронка, может быть, уже есть, и это только еще больше осложнит дело. «Посылать людей на смерть? Усатого наводчика, которому за сорок и у которого семеро детей? Безусого заряжающего, которому тоже за сорок и который тоже не холостяк? Стоит ли жертвовать лучшим орудийным расчетом ради спасения этих бегущих по огороду трусов?..» Если бы можно было на войне выбирать, заглядывать в будущее — усатый наводчик поведет комбайн, Грива сядет за дубовый стол и повесит на дверях табличку: «Прием по вторникам и четвергам...» Танк уже не стрелял, а просто гнался за майором, но Табола все еще не принимал никакого решения. Из-за развалин двухэтажной кирпичной школы вот-вот появится танковая лавина, и крайнее слева орудие, отлично замаскированное, спрятанное за бетонный фундамент, должно ударить во фланг вражеским танкам. Фланговый огонь — самый эффективный! Орудие будет бить почти в упор, и, пока немцы опомнятся и обнаружат его, не один и не два танка успеют поджечь артиллеристы. Правда, стрелять будет не только крайнее левое, кроме него стоят в засаде еще три орудия, но у этого — самые выгодные позиции. Табола так же отчетливо представлял себе и эту схватку — выстрел, стремительная, как черта, трасса, вспышка на броне и черный дым над башней; выстрел — трасса, выстрел — трасса... Схватка решит исход боя — или оборона устоит, или Соломки будут сданы немцам. Это только говорят, что полк воюет на своем участке, — каждый солдат держит фронт; он, Табола, сдаст Соломки, другой — другое село, третий — третье, и опять, как в сорок первом, как летом в сорок втором, — вереницы отступающих по дорогам, скопища у переправ... «Века не стирают позора нации!»

Все эти мысли пронеслись в памяти за те короткие мгновения, пока Табола смотрел на бегущего майора; в стереотрубе, как на экране, мелькают ноги, руки, голова, багровая шея и белая сверкающая лысина, всегда потная, которую Грива тогда старательно промокал носовым платком...

За бортом бушевали холодные волны Татарского пролива. Небольшой однотрубный пароход, который никак нельзя назвать океанским, скрипел и вздрагивал от ударов; брызги залетали на палубу и ледяной эмалью застывали на поручнях. Впереди сквозь сизоватую мглу проступал серый отвесный

берег Сахалина. Здесь, у устья Дуйки, он особенно неприветлив и мрачен — мрачные ущелья, уходящие в глубь острова, мрачные скалы, нависающие над водой; несколько деревянных домиков приютились на берегу — это порт Дуэ, бывший пост, бывшая столица сахалинской каторги. Десятки раз бросала якорь «Святая Мария» в этой угрюмой бухте, привозя в трюмах очередную партию каторжан; «Святая Мария» давно замазана черной краской, и на проступавшие еще белые буквы наложены новые слова: «Красный трудовик»; но не изменился маршрут у этого парохода; в тех же трюмах, на парах, не застланных даже соломенными матрацами, на голых досках, на которых снали арестанты, лежали теперь юноши и девушки, добровольцы, те самые, о которых потом сложат легенды, комсомольцы тридцатых годов!.. Пароход протяжно гудел, вызывая с пристани катер; с черного скалистого берега отвечало еще более заунывное и тоскливое эхо. Все, кто стоял на палубе, молчали. Молчал и Табола. Ему было тогда двадцать лет, все еще было впереди — и сахалинские лишения, и гром первых пятилеток, и военное училище, и война, отступление из-под Киева, Барвенковское сражение, и эта битва на Курской дуге; тогда — юноша из далекой белорусской деревни с комсомольской путевкой в кармане стоял на пороге своей судьбы, жизни, в которой все — открытие, все — познание, в которой нет ничего между, а все только на полюсах; тут, на Сахалине, в Дуэ, на этом мрачном берегу, на который он смотрел сейчас, подавленный и удрученный, предстояло ему впервые познать, что такое мужество. Память бережно хранит события тех лет; в памяти они даже ярче, потому что из отдаления годов все прошлое окрашивается в романтические тона. Ночь в бывшем арестантском бараке, груды кандалных цепей у входа, полосатые столбы и полосатая будка на плацу, эти безмолвные государственные стражи, всегда напоминающие о том, что есть на земле власть и насилие; потом — дуйские рудники, где добывался каменный уголь, как раз те рудники, которые и предстояло восстанавливать приехавшим комсомольцам; потом — узкая дорога мимо Воеводской тюрьмы в Воеводскую расщелину, к лесоразработкам; потом — два года на разработках: взмахи топора, хруст падающих веток, костры у шалашей и рассказы, таинственные, ставшие уже преданиями, о беглых каторжанах, о манящей амурской стороне, о мысе Погиби, на котором погибал каждый третий, кто пускался в ночь на иляцкой лодке на амурскую сторону; и то, уже тоже ставшее легендой, что пережил сам он, юноша Табола, то самое, что

нынче выражают тремя словами: «На одном энтузиазме!» Седой генерал Табола, генерал, изучающий историю, по поводу этих слов запишет в своем дневнике: «Неблагодарное поколение, которое может осуждать энтузиазм!» Кто знает, кому какие строки придется записывать под старость? Еще и в помине не было седого генерала, не было ни сорок первого, ни Барвенковского сражения, ни ЭТОЙ битвы на Курской дуге, под Соломками, — шел двадцать седьмой, преддверие первой пятилетки, была землянка со слюдяными окнами, была ночь, вьюжная, сахалинская, и еще были большие думы о встающей из развалин большой стране.

Память бережно хранит события тех лет.

Солнце опускалось за Татарский пролив, на амурскую сторону; каждый раз, когда оно скрывалось за таежными дебрями, лесорубы заканчивали работу, затыкали топоры за пояс и шли в лагерь, к землянкам. В этот день Табола задержался на просеке. Он услышал негромкие голоса в чаще. Разговаривали двое.

— Руби!

— Не могу.

— Дурак! Лучше оставить здесь два пальца, чем комсомольский билет...

Табола раздвинул кусты: ребята оказались знакомые, из соседней землянки.

— Клади, отрублю! — предложил Табола.

— Не выдашь?

— Нет.

«Грядет мировая революция! Рука, которая не хочет работать, пусть и не загребает чужие плоды!» Табола вскинул топор и отсек кисть. В ту минуту он считал себя правым — так поступил бы каждый честный человек на его месте! Но вечером, когда пострадавшего перевязали и отправили в Дуэ, когда облетевшая лагерь весть о несчастном случае уже ни для кого не была новостью, разговоры притихли, в землянках погасли огни, когда все легли спать и Табола тоже разделся, лег и укутался с головой одеялом, он снова вспомнил все, что произошло на просеке, и подумал, что, может быть, поступил жестоко, отрубив парню руку. Сквозь слюдяное окно падал на пары слабый лунный свет; в железной печке трещали смолистые поленья; Табола ворочался с боку на бок и не мог сомкнуть глаз. Он видел перед собой бледное лицо парня, кисть, упавшую в снег, алое пятно на свежем сосновом срезе; картины, встававшие в воображении, были четче и впечатли-

тельнее и вызывали жалость; он вспомнил, что решение отрубить парню руку пришло к нему не в тот момент, когда он раздвигал кусты, а позже, когда топор уже висел над головой и остановить удар было невозможно; он так и не заснул до утра, мучимый сомнениями. Сомнения преследовали его и на другой день, и на третий, и спустя месяц и два; Табола осуждал себя, совсем не подозревая, что уже через год изменит свое мнение, а под старость будет считать, что именно тогда, на просеке, он совершил самый мужественный поступок в своей жизни. Через год его назначили бригадиром. Как раз в это время в лагере лесорубов произошло событие, о котором даже выдавшие виды сахалинские поселенцы говорили, покачивая головами: комсомольцы, посланные на розыски беглеца, замерзли в тайге, а тот беглец вовсе не убегал из лагеря, а забрался в старую заброшенную землянку и переждал там пургу... Случилось это так: вечером на нарах обнаружили брошенный комсомольский билет и записку: «Живите сами для будущего, а я хочу жить сейчас!» Внизу стояла разборчивая подпись: «Николай Вовк». Хорошо запомнилась эта фамилия. К Табола в землянку принесли комсомольский билет и записку. Собрался совет: что делать? Вечерело, начиналась метель, и парень, ушедший из лагеря, мог заблудиться в тайге и погибнуть. Одни предлагали немедленно выйти на поиски и вернуть беглеца, потому что «людей надо воспитывать»; другие, напротив, говорили, что пусть лучше погибнет один дезертир, чем, к примеру, пятеро смелых и сильных, для которых начавшаяся пурга тоже небезопасна; особенно настаивал на этом старый поселенец из каторжных Карл Карлов: «По тайге еще можно пройти, тут дорога между сосен, а как в степь выйдешь, так и пропал, завьюжит». Табола колебался; после того случая на просеке он боялся, что может опять принять неправильное решение; он осудил тогда жестокость; к тому же хотелось хоть как-то загладить свою вину, оправдаться за тот поступок и вообще быть добрее к людям. Позднее он задаст себе вопрос: к кому добрее, к нерадивым или к достойным? Позднее он с горечью будет говорить: «Трусость всегда окупается чьим-либо несчастьем или чьей-либо смертью».

— Надо искать!

Отобралось десять сильных, разбились на две группы; одна — четверо — направилась к баракам, к бывшей Воеводской тюрьме, верхней дорогой, другая — шестеро — нижней. Четверых возглавлял Табола. Двигались медленно, с фонарями,

цепочкой; когда вышли из тайги, метель только-только набирала силу, разыгрывалась; до барakov добрались к полуночи и никого по дороге не встретили. «Очевидно, он пошел нижней, и та группа наверняка найдет его». Но та группа тоже не встретила беглеца; она даже и не дошла до барakov. Через три дня, когда стихла метель и Табола вернулся в лагерь, он был потрясен неожиданно увиденным зрелищем: впереди землянок, на снегу, на разостланных полосатых матрацах, лежали окоченевшие трупы; замерзли все шестеро; как сидели они в последнюю минуту жизни, уткнувшись подбородками в колени, так и сковал их мороз; трупы-калачики на полосатых матрацах — один, два, три, четыре, пять, шесть... Тут же, в толпе, стоял Николай Вовк, один среди всех в шапке, потому что не мог снять ее — были связаны руки; у ног валялся набитый продуктами рюкзак и свернутое трубкой и перетянутое ремнем одеяло; его заметили, когда он выходил из своего укрытия — старой, заброшенной землянки, поймали и привели сюда; он был бледен, и бледность его отливала мертвецкой синевой, как у того, на просеке, которому Табола отсек топором кисть...

Что жестоко и что гуманно? И к кому надо быть добрее?

— Кто приказал?!

— Кто приказал?!

Но ни артиллеристы, торопливо выкатывавшие на площадку орудие, ни командир третьей батареи, молодой старший лейтенант, с биноклем в руках стоявший у бруствера на своем наблюдательном пункте, — как раз он и приказал уничтожить прорвавшийся на огороды танк, — не слышали негодующих окриков подполковника; они делали свое дело, вполне уверенные, что совершают именно то, что нужно, выполняют долг.

Хотя уже нельзя было ничего изменить, Табола все же отправил на батарею связного, он негодовал на старшего лейтенанта не столько за то, что тот послал семерых бойцов и орудие на явную смерть, как за то, что это орудие, если оно даже и не будет подбито, если даже никого из семерых не ранит, не убьет, — орудие все равно уже не сможет принять участие в схватке между танковой лавиной и батареей, которая с минуты на минуту разразится на площади. Последняя схватка с танками! Надо во что бы то ни стало выиграть ее, и тогда весь бой под Соломками будет выигран.

Вражеская лавина тем временем уже обогнула развалины двухэтажной кирпичной школы и вышла на площадь. И ору-

дия, стоявшие в засаде, и бронебойщики встретили лавину дружным залпом; немцы открыли ответный огонь, стреляли наугад, как это всегда бывает от неожиданности и растерянности, и Табола заметил, как бесцельно разорвались первые снаряды на линии палисадников и плетней. Столбы земли взлетели вверх, рухнули, и серая пыль, как густой туман, растеклась по улице; вскоре вся площадь потонула в этой серой пыли, и на командном пункте полка не сразу догадались, что это немцы специально из люков выбросили дымовые шашки. Что они хотели предпринять? Скорее всего, под дымовой завесой выйти из-под обстрела. Сначала Табола так и подумал; сначала он даже был уверен, что это именно так, потому что уже горело несколько подбитых танков и могли запылать еще, потому что орудия били и с боков, и в лоб, и между орудиями, рассредоточившись, лежали в укрытиях бронебойщики, и они тоже стреляли и с боков, и в лоб, по гусеницам, и только не было того, четвертого орудия, которое старший лейтенант отправил к развалинам, на площадку. «Мальчишка, молокосос, штрафной мало!..» — сначала Табола хотя и негодовал на командира третьей батареи, все же был вполне уверен в исходе боя, даже полез было в карман за зажигалкой, чтобы раскурить давно угасшую трубку, но так и не вынул зажигалку: внизу, на площади, грохот не стихал, а, напротив, даже будто усиливался, и самое главное, что смутило подполковника, это треск автоматных очередей, раздавшийся где-то совсем неподалеку от командного пункта. Он направил туда разведчика, чтобы узнать, что произошло, но почти тут же сам увидел совершенно неожиданную картину: дым стекал к оврагу и по оголенной обочине бежали немцы с автоматами наперевес. Их было человек двенадцать — пятнадцать, все в танкистских шлемах; они выпрыгнули из горевших танков, сгруппировались и теперь атаковали батарею, вернее, обходили ее с тыла. На батарее никто не замечал этой опасности, разгоряченные и оглушенные стрельбой, артиллеристы ничего не слышали, кроме твояющих звуков своих пушек; они били по танкам, танки отвечали им, и все это делалось наугад, на ощупь, в дыму.

— Взять автоматы!

Табола собрал всех, кто был на командном пункте, и повел их наперерез вражеской группе. Немцев не подпустили к батарее, оттеснили и прижали к бане, стоявшей на краю огорода, у оврага; но пока все это произошло, они успели из пулемета уничтожить орудийный расчет. Пулемет строчил с откоса прямо в спины артиллеристам; наводчик и заряжающий были



убиты сразу, наповал, раненые отползли к окопам, и только подносчик снарядов, живой и невредимый, все подтаскивал и подтаскивал снаряды к орудию, ошалев от стрельбы, от работы, от вида громыхавших вблизи танков, от всего, что творилось вокруг. Смолкло и еще одно орудие, очевидно подбитое танками. Наступил самый напряженный момент. Поручив старшине и связистам покончить с немецкими танкистами, прижатыми к бане, Табола кинулся на батарею. Он подбежал к орудию, возле которого уже был натаскан ворох снарядов, отстранил тело убитого наводчика и прильнул к панораме; он давно уже сам не стрелял из орудия по вражеским танкам — последний раз это было, кажется, на Барвенковском плацдарме — и потому чувствовал мелкую внутреннюю дрожь; он подумал, что это неприятная дрожь оттого, что он прикоснулся ладонями к холодному металлу. Ветерок отгонял с площади дым, все яснее вырисовывались темные силуэты вражеских машин; они разворачивались, скрежеща и лязгая; над площадью катился завывающий гул моторов. Табола повернул маховик наводки и поймал в перекрестие панорамы огромное туловище вражеского танка. Танк как раз повернулся так, что подставил под удар свое самое уязвимое место — бок, и подполковник весь вспыхнул от этой неожиданной удачи; ни на мгновение не отрываясь от панорамы, нащупал рукой спуск и надавил его — глухой щелчок затвора и резкий звук выстрела прогремели почти одновременно, и Табола увидел, как тонкая огненная трасса пронеслась над башней танка и растаяла в сером дыму. «Промазал!» Он ощутил это прежде, чем успел произнести слово; повернул прицел ниже и снова нажал спуск — метнулась трасса и ткнулась в черную броню танка; Табола, казалось, даже почувствовал легкий толчок в плечо, словно это синяя трасса была продолжением его руки. Танк подбит, разглядывать его нет ни времени, ни желания; глазок панорамы ползет по площади, отыскивая новую цель, и вот уже в перекрестии другой танк — тоже большой и темный, с черной свастикой на броне; он стоит, как неподвижная мишень, и только башня его медленно поворачивается, направляя тонкое жерло орудия прямо в глазок панорамы; там, в танке, тоже нащупывают цель, такое же напряженное и потное лицо, склоненное над прицелом, — и это лицо, и самого немца Табола будто видит перед собой; одна мысль колотится в сознании: «Он целит в меня! Он целит в меня!» Жерло башенного орудия шевельнулось в последний раз и замерло на одной линии; Табола мысленно прочертил эту линию между собой и вра-

жеским танком; желая опередить немца, резко нажал на спуск. Он так и не понял, что прозвучало раньше — выстрел или разрыв. Впереди орудия возвышался полуметровый бетонный фундамент. Снаряд угодил как раз в фундамент, бетонные крошки и осколки перемахнули через щит и веером рассыпались позади; вместе с пылью и дымом в лицо пахло серным запахом сгоревшего тола. Подполковник вытер пот и, с удовольствием сознавая, что ни один осколок не задел его, опять прильнул к панораме. Тот же темный и огромный немецкий танк с черной свастикой на броне теперь надвигался на позиции, и жерло башенного орудия снова нащупывало цель; Табола тоже повернул маховик наводки, стараясь как можно точнее поймать в перекрестие танк; и немец в бронированной башне, и подполковник у орудия оба одинаково напряженно метились друг в друга, оба знали, что тот, кто первым нажмет спуск, будет победителем в этом поединке; для Табола сейчас весь мир словно собрался и сгустился в круглом глазке панорамы, в перекрестии двух черных черт, за которыми раскачивалось темное туловище фашистского танка; было такое ощущение, будто он всю жизнь ждал этой минуты, жил ради нее, стремился к ней, и теперь, когда она наступила, вдруг остановилось время, чтобы через минуту — кто кого? — снова закружиться бешеным коловоротом; если бы его спросили, почему он так старательно наводит орудие, он ответил бы двумя словами: «Хочу жить!» Только потом пришли бы на ум такие мысли, что он мстил за товарищей, за того солдата-историка, что остался лежать на киевском валу, за Киев, за Барвенковское сражение, за пенелица по донским степям и кровавые скопища у переправ, за все страдания, которые перенес он сам, оставляя спаленные города и села... Патриотизм осознается потом, после боя. «Хочу жить!» Табола нажал спуск и опять так и не понял, что прозвучало раньше: выстрел или разрыв. Опять синяя трасса скользнула над башней, а снаряд угодил в бетонный фундамент, и едкая бетонная пыль на секунду окутала орудие. В третий раз сомкнулись линии наведенных стволов, и Табола, холодея, нажал спуск. Трасса скользнула над землей, и в то же мгновение не просто белый огонек попадания, а столб взрыва взметнулся на том месте, где полз танк. Бывают на войне случайности; это была тоже случайность, в которую даже сам Табола поверил с трудом, когда после боя ходил осматривать подбитый танк; бронебойный снаряд угодил прямо в ствол, потому что ствол был разорван и скручен и башня так разворочена внутренним взрывом, что

трудно было представить ее форму; на почерневших трупах водителя, радиста и стрелка догорала одежда... После боя Табола с изумлением размышлял над этой случайностью, но в тот миг, когда увидел взрыв, только подумал: «Подбит!» — и тут же повернул маховик наводки на другую цель. Он ловил в перекрестие черные силуэты вражеских машин, нажимал спуск; линии наведенных стволов смыкались, гремели выстрелы и разрывы, и в этой горячке боя Табола понимал только одно — его спасает от смерти полуметровый бетонный фундамент.

Горело шесть танков; в одном из них рвались снаряды, и то и дело спаренные, строчные оглушительные взрывы раздавались на площади; танковая лавина, вконец обескровленная и обессиленная, уходила за линию траншей, к гречишному полю. Где-то за развалинами двухэтажной кирпичной школы, возле стадиона, еще гремели залпы — это артиллеристы добивали отступавшие немецкие танки.

Табола сидел на станине, набивал трубку. Стреляные гильзы желтой грудой лежали у ног, и солдат-подносчик, тот самый, что сначала подносил к орудию снаряды, а потом подавал их в ствол и захлопывал затвор, — солдат аккуратно укладывал гильзы в ящики; гимнастерка на нем была мокрая, прилипла к спине, и Табола с безразличием смотрел, как он поминутно отдирает ее от тела; сам подполковник тоже был весь мокрый от пота и теперь чувствовал, как ветерок обдувает и холодит шею и лицо. Бой, выигранный с таким трудом, все еще занимал его воображение. Он поднялся и с трубкой в зубах пошел вдоль огневой. Не первый раз видел он поле боя, дымящиеся воронки, тела убитых, исковерканные щиты орудий, но сегодня какое-то особенно тяжелое чувство угнетало его. От батареи всего осталось одно орудие и пять бойцов с сержантом во главе; не было в живых и старшего лейтенанта, его убило на наблюдательном пункте — осколком срезало череп. Табола остановился у края воронки и долго разглядывал лицо командира батареи; он смотрел не потому, что хотел запомнить это лицо, все еще выражавшее испуг и ужас последних пережитых минут, и не потому, что старший лейтенант был особенно близок и дорог ему, — Табола думал о том, что, может быть, для того и создана молодость, чтобы совершать ошибки. Старшему лейтенанту едва ли минуло двадцать два. Если бы он не отправил четвертое орудие спасать бегущего майора, кто знает, как бы еще сложился бой, но, во всяком случае, не было бы того, что произошло — этих разбитых орудий, распластанных тел, и не

пришлось бы подполковнику самому вести опасный поединок с танками, и старший лейтенант сейчас весело улыбался бы, вспоминая подробности атаки... Но он лежал с раскроенным черепом, и Табола мрачно стоял над ним, держа в руке угасшую трубку. «Мальчишка, молокосос, штрафной мало!» — смешно выглядели угрозы; не старшего лейтенанта ругал он сейчас, ошибка началась гораздо раньше, когда лысый майор в панике выбежал со своего командного пункта. Трусость всегда оплачивается чужой смертью! А на войне — десятками, сотнями смертей. Табола закрыл ладонью глаза и потер виски. Ему еще предстояло подняться на площадку и посмотреть то, четвертое орудие, которое, как и ожидал он, было сразу же подбито немцами и теперь лежало на щите, вверх колесами. Весь расчет, все семеро в разных позах валялись возле орудия — и тот усатый наводчик, которому за сорок, у которого семеро детей и который, наверное, водил бы после войны по степи комбайны, и безусый заряжающий, которому тоже за сорок и который тоже не холостяк... Первым Табола увидел наводчика. Осколок попал ему в живот, он съежился от боли, поджал колени и так застывал теперь, калачиком; труп-калачик, точь-в-точь как те, замерзшие сахалинские комсомольцы, глубоко врезавшиеся в память. Расчет погиб, но артиллеристы все же успели подбить вражеский танк; с площадки хорошо было видно его — он стоял на огороде возле нахилившегося плетня, безжизненный, черный, осевший набок и задравший к небу жерло орудия; впереди танка из неглубокого окопа выглядывал майор, его белая рубашка и сверкающая лысина отчетливо выделялись среди зеленой капустной ботвы; неподалеку бродил начальник штаба батальона, разгребал сапогами ботву, искал выроненные при бегстве очки. Табола пересек площадку и стал спускаться к огородам. Он еще не знал, зачем и для чего ему нужно увидеть майора: чтобы высказать накипевший гнев? Было такое инстинктивное желание, и, хотя он знал, что никогда ничего не скажет толстому командиру стрелкового батальона, все же мысленно слагал едкие, негодующие фразы; он шел и произносил целую обвинительную речь, но чем ближе подходил к окопу, из которого выглядывали белая рубашка и белая сверкающая лысина, всегда потная, которую майор тогда старательно промокал носовым платком, — чем ближе Табола подходил к окопу, тем бледнее казались ему эти слова и фразы; в конце концов, он решил сказать одно: «Подлец!» — но, когда подошел, не сказал и этого, а только окинул майора презрительным взглядом и зашагал дальше,

к подбитому танку с задраным к небу орудийным жерлом. Молчаливое осуждение всегда сильнее и страшнее! Он обошел вокруг танка, остановился напротив черной свастики, густо выведенной на броне; на свастике виднелось несколько царапин; Табола пригляделся к ним — это были следы от бронебойных пуль. Какой-то бронебойщик бил по свастике — или от сильной ненависти, или от явного незнания, что из противотанкового ружья нужно стрелять по смотровым щелям, а еще лучше — по гусеницам... Пока Табола рассматривал царапины и думал о бронебойщике, к танку подошел майор Грива. Он был рад и улыбался сквозь еще не прошедший испуг, и панибратски похлопал ладонью по черной и холодной броне; танк теперь не был страшен и потому майор осмелился даже потрогать рукой короткий ствол пулемета, торчавший ниже смотровой щели.

— Хе-хе, голубчик!..

Майор остановился как раз напротив ствола пулемета.

«Назад! Назад!» — Табола успел только подумать, но не успел выкрикнуть эти слова, как немец, сидевший в танке, обгоревший, раненный, полуживой, может быть очнувшийся в тот самый момент, когда майор Грива качнул пулеметный ствол, — немец нажал на гашетку, грянула звонкая очередь, и майор, только что счастливо улыбавшийся, только что считавший, что смерть минула его, замертво упал на грядку; по белой рубашке расплылось огромное красное пятно.

За развалинами двухэтажной кирпичной школы смолкли последние орудийные залпы. Над соломкинской обороной опустилась недолгая тишина. Но уже в небе плыла новая группа «юнкерсов». Сейчас они вытянутся в цепочку и начнут один за одним пикировать на позиции; эти отбомбятся, прилетят другие, потом третьи, потом загрохочут орудия и с буревым посвистом взметнутся разрывы, потом повторится все то, что уже было: танковый ромб, атака автоматчиков, напряжение мышц и воли.

Табола из-под ладони взглянул на заходившие в пике «юнкерсы» и с тоской подумал: «Все начинается сначала...»

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

— Третья...

— Что считаешь?

— Цigarки. Прошлый раз на четвертой «юнкерсы» начали бомбить.

— И охота тебе?

Сворачивая очередную сигарку, Сафонов удивленно взглянул на своего подручного и покачал головой; во время боя он никогда не закуривал и не разрешал этого Чебурашкину, но, как только затихала артиллерийская стрельба и улетали, отбомбившись, «юнкеры», как только на позициях, занимаемых взводом, устанавливалось затишье, — сперва расчищал окоп, противотанковую щель и проход к ней, потом садился на шинельную скатку, откидывался спиной к теплой стенке траншеи и принимался курить, сворачивая сигарку за сигаркой и не выпуская из рук ни кисета, ни свернутой аккуратно, потому что Сафонов даже в этом любил порядок, газеты, ни зажигалки. Он смотрел то на свои слегка вздрагивавшие от усталости пальцы, в которых держал кисет, то на кисет, цветной, емкий, с вышитой надписью: «Лучшему бойцу» — и молчал; он мог подолгу сидеть так, молча, по-своему, по-мужицки обмысливая происходившие события, и недовольно хмурился, когда Чебурашкин, возбужденный стрельбой и своим подвигом, — в горевшем танке уже рвались снаряды, когда он откопал и вытащил из-под черного днища бесчувственное тело лейтенанта, — возбужденный, главное, тем, что он действительно теперь не боится ни пуль, ни снарядов, ни танков, только с виду страшных, но беспомощных перед солдатской ловкостью и сноровкой, — Сафонов хмурился, когда Чебурашкин, которому непременно хотелось говорить, то и дело задавал вопросы. Старый пулеметчик отвечал нехотя, односложно.

— И Тракторный обороняли?

— Да.

— И под Калачом наступали?

— Да.

— Вам повезло, дядя Ефим.

— Ладно, «повезло»... Набивай диски!

Сражался Сафонов и у развалин Тракторного, и наступал под Калачом; он хорошо помнит: такой же окоп, серый, сыпучий, шинельная скатка на дне, стреляные гильзы и диски у ног, ручной пулемет на бруствере; так же наползали на позиции танки, черные, большие, с белыми крестами на броне, — танки фельдмаршала Паулюса; так же били по ним из орудий, противотанковых ружей, бросали под гусеницы связки гранат; так же в дыму и чаду металась люди, и над окопами, как несмолкающие раскаты грома, то совсем близкие, то отдаленные и приглушенные, грохотали разрывы; только это был не первый день боя, как сегодня здесь, под Соломками, на

Курской дуге, а сто первый, без передышки, без отдыха сто первый, и не солнечными лучами, а дождевыми потоками заливало окопы, и солдаты, мокрые и от дождя, и от напряженного боя, — отходить некуда, позади Волга! — бились насмерть. Рота, в которой находился Сафонов, занимала оборону в районе Тракторного, южнее завода «Баррикады». Так же, как только что сейчас в Соломках, стоял тогда Сафонов в окопе и стрелял из пулемета по наступающей цепи гитлеровцев; фигурки вражеских автоматчиков появлялись и падали в тесном обхвате мушки; его ранило в руку, он перевязал рану бинтом и снова стрелял; потом швырял под гусеницы танков связки гранат, бутылки с зажигательной жидкостью — танки нельзя было подпускать к окопам, вернее, некуда было их пропускать, в сорока метрах позади — берег, переправа, снабжавшая патронами и людьми все сражавшиеся у развалин Тракторного батальоны и роты. В бою южнее завода «Баррикады» был у Сафонова в пулеметном расчете подручным, вторым номером, такой же молодой, как и Чебурашкин, такой же веселый и разговорчивый боец Михаил Панихин. Он погиб. Когда фашистский танк, скрежеща гусеницами, подползал к окопу, Михаил взял бутылку с зажигательной жидкостью, размахнулся, намереваясь поджечь приближавшийся танк, но случилось совершенно неожиданное — в поднятую над головой бутылку попала пуля, жидкость плеснулась на каску, на шинель, и вмиг желтое пламя огня охватило солдата; он не стал сбивать пламя; поднял вторую бутылку и кинулся — горящий человек! — к вражескому танку. Сафонов хорошо помнил все: и как бежал Панихин, охваченный огнем, и держал впереди себя на вытянутой руке, подальше от пламени, вторую зажигательную бутылку, как ударил ею по решетке моторного люка, — языки пламени и огромные клубы дыма, как взрыв, сразу поглотили и вражеский танк, и солдата; потом, ночью, когда бой немного утих и над кирпичными развалинами бывшего цеха только взвивались одна за одной осветительные ракеты, Сафонов ползал к сгоревшему танку, чтобы принести тело Панихина и похоронить на песчаном волжском берегу, но вместо тела принес только горстку пепла, обгоревшую каску, фляжку и погнутый алюминиевый солдатский котелок... Сейчас, глядя на Чебурашкина, медлительно и деловито — Сафонов научил своего подручного и медлительности, и деловитости — набивавшего очередной диск патронами, старый пулеметчик снова вспомнил о Михаиле Панихине; он подумал, что, пожалуй, и Чебурашкин поступил бы именно так, как Михаил,

что даже не пожалуй, а навсерьняка кинулся бы с зажигательной бутылкой на вражеский танк — ведь не струсил, спас лейтенанта. Сафонов курил, окутывая лицо махорочным дымом; и кисет, и газетку все еще держал в руках, и Чебурашкин то и дело поглядывал на его руки, с любопытством ожидая, когда пулеметчик начнет сворачивать очередную; но Сафонов, хотя сигарка уже обжигала пальцы, продолжал затягиваться, не замечая взглядов своего подручного; медлительный и тяжеловатый на размышления, он не мог отделаться от нахлынувших воспоминаний; в памяти вставали дни Волжской обороны, суровые, страшные, когда приходилось за сутки отбивать по двенадцать-тринадцать вражеских атак. Он вспомнил и первую ночь, когда под непрерывным минометным огнем переправлялся на правый берег Волги, — рота с ходу, прямо с плотов контратаковала гитлеровцев, ворвалась в развалины цеха, а потом до конца обороны удерживала эти развалины; вспомнил и то пасмурное осеннее утро девятнадцатого ноября, когда войска Юго-Западного и Донского фронтов перешли в наступление, то утро и все последующие пять дней боев, когда танковые корпуса и он, Сафонов, как десантник на этих танках, прорывались к Калачу, Советскому, шли на соединение с другими нашими частями, кольцом охватывая трехсоттридцатитысячную армию фельдмаршала Паулюса. Но не картины атак, не грохот батарей, не рев танковых моторов — в атаку ходили вместе с танками, прячась от пуль за широкие бронированные лбы, — не те хорошо запомнившиеся детали, когда приходилось стрелять в гитлеровцев в упор, бросать «лимонки» в набитые фашистами блиндажи, ротами, батальонами конвоировать пленных, — нет, не те частности, встававшие сейчас в воображении, волновали старого пулеметчика; то настроение, то ощущение силы, тот радостный холодок — наша берет! наша берет! — вновь, вспоминая, испытывал Сафонов теперь; он видел, как сдавались в плен гитлеровцы, как бросали к ногам автоматы и поднимали вверх руки; видел штабеля замерзших тел в сизых шинелях и угловатых касках, сложенные на улицах волжского города. «Кресты на касках, кресты над могилами». Сафонов бросил окурок, приподнялся и из-за бруствера взглянул на белгородские высоты, тонувшие в пыльной дымке разрывов, — как раз над высотами шел воздушный бой, наши самолеты под прикрытием истребителей бомбили подходившие к фронту гитлеровские части — взглянул на лес, подступавший местами к самому гречишному полю, лес, из которого уже дважды выползал черный танковый ромб и откатывался назад;

поползет и в третий, и в пятый; с непривычной для себя торопливостью Сафонов резко оторвал клочок газеты и полез в кисет за махоркой.

— Четвертая...

— Все считаешь?

— Рассчитываю, когда «юнкеры» снова пожалуют.

— Пожалуют еще... Набивай диски!

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Раненые прибывали всю ночь и утром, и особенно поток их усилился сейчас, когда бой под Соломками затих и наступила недолгая передышка; солдат вели и несли отовсюду — и с развилки, и от стадиона, и с площади, что за развалинами двухэтажной кирпичной школы, с переднего края; цепочка перебинтованных людей, казалось, никогда не кончится; она наводила уныние не только на орудовавшего скальпелем хирурга, который все чаще останавливался и разминал отекавшие пальцы, но и на фельдшера Худякова, тоже уставшего, еле шевелившего руками. Худяков вышел из палатки, прислонился спиной к тонкому стволу березы, достал портсигар и закурил; он курил и смотрел поверх палаток, на небо, запыленное и выцветшее, чтобы не видеть лежавших вокруг на траве и ожидавших своей очереди раненых; от жары, потому что солнце уже высоко поднялось над землей, от стонов и крика, от бессонной ночи и больше от похмелья, потому что с вечера все же успел порядком отхлебнуть спирта из флакона, фельдшер чувствовал себя совершенно разбитым; как росистый утренний воздух, жадно глотал он сизый папиросный дым и не ощущал крепости. Там, куда он смотрел, в сером выцветшем небе плыли «юнкеры»; они разворачивались и вытягивались в цепочку для бомбежки, и Худяков сначала безразлично пересчитал их — девятнадцать; он подумал не о том, куда эти вражеские самолеты сейчас сбросят бомбы — на передний край или на деревню; и не о том, что после бомбежки опять хлынет волна раненых к палаткам санитарной роты, — он вдруг понял, что девятнадцать — это уже не двадцать один, это уже не полная эскадрилья, уже двух самолетов нет, сбиты, уничтожены!.. Он стоял и смотрел, как головной «юнкерс» пикировал на цель; едва взметнулись первые желтые взрывы, бросил окурок и крикнул санитару:

— Заносите обожженного лейтенанта!

Когда уже подошел к палатке и взялся за полог, услышал позади изумленный голос санитаря:

— Лейтенант-то ушел...

— Как ушел?

— Здесь лежал, на этих носилках...

— Может, отполз, посмотри вокруг?

— Не видно.

— Ушел так ушел, черт с ним! — раздраженно добавил Худяков, прислушиваясь, как серия разрывов прокатилась по селу. — Несите следующего, кто там очередной?

Хотя его тошнило и голова, казалось, была палита свинцом, хотя лейтенант Володин чувствовал страшную слабость, подкашивались ноги и руки, как чужие, непослушно и вяло хватались за тонкие стволы берез; хотя он в первую минуту, когда поднялся с носилок, едва не упал от головокружения, — он шел сейчас к селу, к позициям, к своему взводу, где еще гремел бой, шел, чтобы выполнить солдатский долг.

Он вышел к дороге неподалеку от развилки и сразу же наткнулся на огромную воронку, на дне которой уже проступила вода; за воронкой, почти у самой обочины шоссе, лежали трое убитых — капитан и двое солдат. Убиты они были, очевидно, давно, может быть даже еще вчера вечером во время первого воздушного налета на Соломки, потому что успели уже остыть и посинеть. Володин остановился и оглядел трупы. Много искалеченных и изуродованных тел видел он сегодня, и все же заглодело в груди, когда склонился над синим, слегка уже вздувшимся лицом капитана — по лицу бежали муравьи и растаскивали запекшуюся кровь; Володин отвернулся и на ощупь вынул из кармана убитого документы, развернул удостоверение личности и прочел: «Капитан Горошников». Фамилия совсем незнакомая, он не знал, что это был тот самый новый командир батальона, которого так ждал и не дождался майор Грива, не знал, что уже и самого майора нет в живых, а командование батальоном принял на себя капитан Пашенцев, как старший по званию; и партийный билет Горошникова, и удостоверение личности, и обе красноармейские книжки, взятые у солдат, Володин положил к себе в нагрудный карман и вышел на шоссе. Он был уже на развилке, когда над Соломками появились «юнкерсы». Головной бомбардировщик пошел в пики, и Володин так же, как фельдшер Худяков у палаток санитарной роты, как подполковник Табола у раз-

валин двухэтажной кирпичной школы, несколько мгновений напряженно следил за стремительным падением вражеского самолета. Взрывы взметнулись около стадиона. Второй «юнкерс» явно целил ближе, на площадь; третий заходил еще ближе к развилке, а четвертый и пятый, наверное, уже начнут сбрасывать бомбы на развилку, обрушатся на стоящую здесь батарею противотанковых пушек. Володин свернул с дороги и прыгнул в щель, выкопанную еще девушками-регулирующими; едва успел осмотреться, как над головой послышался пронзительный, нарастающий свист бомб, и сейчас же, как по клавишам, — трах-трах-трах! — прогремели вдоль обочины разрывы. «Юнкерс» промахнулся, не попал в батарею, но зато Володин оказался в самом центре разрывов. И хотя укрытие было надежное, и он знал, что никакой осколок не заденет его, а вероятность прямого попадания так мала, и к тому же сам он за все время, пока на фронте, еще ни разу не видел, чтобы огромная бомба угодила в маленькую щель, — хотя бояться ему было нечего, все же он пережил несколько страшных минут. Он снова подумал, что может погибнуть вот так, совершенно бесславной, глупой смертью, не совершив ничего, но теперь его больше пугала не сама смерть, а то, что произойдет после того, как его убьет, — будет валяться на краю воронки, синий, вспухший, и по лицу будут ползать муравьи, растаскивать запекшуюся кровь... Но когда опасность миновала и он понял, что «юнкерсы» уже больше не прилетят сюда, на развилку, и можно спокойно подняться и идти к своей роте, к пулеметам, и когда затем он поднялся и во весь рост пошел по шоссе, опять уже думал о бое; сознание долга всегда сильнее страха; теперь ему снова хотелось, чтобы все утреннее сражение повторилось сначала, и тогда он, лейтенант Володин, уже не совершит ни одной ошибки, не слепо, не через голову будет швырять гранаты в наползающие танки, а кидать прицельно, точно, с расчетом.

Но хотел он или не хотел этого, события развивались помимо его воли и желания: снова загрохотала артиллерийская канонада, едва лишь «юнкерсы», отбомбившись, улетели к своим аэродромам, снова за лесом вражеские танки выстроились в ромбовую колонну и двинулись к гречишному полю, а на белгородских высотах, на самой господствующей высоте, вблизи хутора Раково, в сухом окопе с бревенчатыми стенами фельдмаршал фон Манштейн повернул стереотрубу в сторону Соломок...

За пылью, поднятой артиллерийскими снарядами, были

едва видны крайние соломкинские избы; разрывы метались по полю, вспыхивали справа и слева вдоль шоссе, и между разрывами, лавируя, пробивались два «виллиса». Володин заметил легковые автомашины, когда они минули последние избы, и стал следить за ними; он следил с двойным любопытством: во-первых, в Соломки приезжал кто-то из старшего начальства, и кто именно; во-вторых — прорвутся ли «виллисы» сквозь артиллерийский огонь? Это второе, может быть, потому, что было связано с риском, сильнее беспокоило и волновало лейтенанта; он даже остановился от напряжения, словно боялся упустить миг, когда снаряд попадет в машину; несколько раз казалось, что оба «виллиса» взлетали вверх, но это разрывы ложились впереди машин и заслоняли их пылью.

Наконец «виллисы» вышли из-под обстрела и неожиданно оказались так близко от Володина, что он отчетливо увидел даже лица сидевших за ветровым стеклом; он сразу узнал генерал-лейтенанта, члена Военного совета Воронежского фронта, который вчера вместе с командующим осматривал оборонительные сооружения в Соломках, который спрыгнул в траншею к бойцам, разговаривал с ними, слушал, смеялся; Володин вспомнил весь вчерашний солнечный день и так ясно представил себе ту картину у траншеи: и стоявшего перед генералом Бубенцова со сдвинутой на затылок каской и влажными от смеха глазами, и беззвучно смеявшегося Царева, медвежьи плечи которого тряслись как в лихорадке, и старшего сержанта Загрудного, заклеивавшего языком сигарку и так и застывшего в изумлении, и бойца Чебурашкина, самого молодого во взводе, пробивавшегося из задних рядов поближе к генералу, и самого генерала с коричневым от солнца лицом и выгоревшими, словно покрытыми дорожной пылью бровями... Это было вчера, но казалось, прошло много-много времени, может быть год, может быть два, — убит Бубенцов, убит Царев, старший сержант Загрудный тяжело ранен и отправлен в тыловой госпиталь; и все вокруг изменилось со вчерашнего дня, и он, Володин, грязный, с оторванной портупеей и расстегнутым воротом, в гимнастерке, выпачканной в саже и копоты, стоит на дороге, когда взвод его, его рота отбивают вторую атаку. Он спохватился, хотел было отойти на обочину, но было уже поздно, передний «виллис», скрипнув тормозами, остановился прямо напротив него.

— Ранены? — спросил генерал, не дожидаясь, пока Володин, как положено по уставу, отрапортует, кто он, почему стоит на шоссе, что делал и что собирается делать.

— Нет, товарищ генерал, — смущенно ответил Володин, заметив, как генерал пристально разглядывает его лицо и одежду. «Сейчас влетит!»

Но член Военного совета фронта неожиданно повернулся к сидевшему позади полковнику и сказал:

— Это же тот самый лейтенант...

— От пулеметных гнезд?

— Ну...

Упоминание о пулеметных гнездах еще больше смутило Володина, потому что он тогда, собственно, хотя и дошел до гнезд, но не выполнил приказа командира роты и к тому же так неловко попал под вражеский танк! Ему показалось, что полковник неприязненно усмехнулся, произнеся эти слова: «От пулеметных...» — и усмехнулся потому, что все знал.

Володин был прав: и генерал, и сидевший позади него полковник действительно знали многие подробности соломкинского боя, они только что встречались и разговаривали с подполковником Табола и капитаном Пашенцевым; знали и о Володине, как он был послан к пулеметным гнездам, как попал под танк и как солдат Чебурашкин, рискуя жизнью, спас его, своего командира, но во всей этой истории, пересказанной Пашенцевым, Володин выглядел героем. Капитан был уверен, что это Володин тогда перевел пулеметы на запасные позиции и организовал оборону, — так и поведал генералу. В блокноте генерала рядом с фамилией капитана Пашенцева, рядом с описанием контратаки, которую предпринял капитан и которую хорошо видели с командного пункта дивизии, была записана и фамилия лейтенанта Володина.

— Туда?..

— Да, в роту, товарищ генерал!

— Отпустили? Выписали?

— Сам ушел, — добавил Володин и подумал, что лежать под бомбами куда легче, чем стоять перед генералом. Но хотя он и волновался, он все же был доволен, что сказал правду, — ушел так ушел! — и это несколько ободряло его; он смотрел не мигая, потому что, в конце концов, не чувствовал за собой никакой вины ни в том, что с ним случилось на передовой, ни в том, на что решился в санитарной роте — вернуться в траншею; уверенность крепла в нем, и когда генерал вновь посмотрел на него, когда их взгляды встретились, Володин дерзко и вызывающе, сам удивляясь этому новому ощущению в себе, вскинул голову: «Я не вернусь назад и не подчинюсь вашему приказу!»

Но генерал вовсе не собирался ничего приказывать, тем более отправлять назад, в санитарную роту, хотя видел, что Володин как раз именно в этом нуждается; бледное, изможденное лицо, впалые щеки, гимнастерка, выпачканная в саже и копоти, оторванная портупея, весь вид совсем юного, стоявшего по стойке «смирно» командира стрелкового взвода, его ладонь с неотмытыми пятнами крови, поднятая к шилотке, контуженное плечо, то и дело вздрагивавшее от напряжения, — все это вызывало у генерала иные мысли; он думал о том, сколько должно быть воли в человеке, если он вот так, испытав страх и ужас, не только не сломился духом, но стал еще крепче и сильнее; генерал с радостью думал о том, что стоявший перед ним лейтенант — это не первый, кого он видит таким смелым и мужественным; такие были и под Киевом, и под Харьковом, и под Ржевом, и под Молодечно, и в окопах у безымянных болот и речушек — по всей русской земле, потому-то и не пала Москва зимой сорок первого, не встал на колени осажденный Ленинград; потому и сложила свои боевые знамена у руин Тракторного трехсоттридцатитысячная армия фельдмаршала Паулюса, двадцать две отборные дивизии; и здесь, на Курской дуге, вырастут кладбища немецких танков... Генерал еще раз взглянул в упрямое лицо Володина; он понял: сейчас не нужно ни одобрительных слов, ни похвал; просто протянул руку и сказал:

— Желаю удачи, лейтенант! Боевой удачи!

«Виллисы» уже скрылись за поворотом, а Володин все еще в раздумье стоял на шоссе; было в этой случайной минутной встрече что-то очень важное для него, чего он не мог понять сразу, сейчас; только спустя семь дней, когда под Прохоровкой сойдется во встречном бою восемьсот на восемьсот танков, когда на огромной луговине между совхозом «Комсомольский» и станцией Прохоровка разразится колоссальное танковое сражение и танковые корпуса, потеряв по две третьих своего состава, разойдутся к ночи на исходные позиции, еще не зная, а только предугадывая исход боя (Ватутин — что сражение выиграно; Манштейн — что сражение проиграно), и когда на следующее утро после этого боя наши войска перейдут в наступление и рота Володина — он еще здесь, в Соломках, примет роту, — измотанная и вновь пополненная, злая от постоянных неудач, вместе со всеми частями двинется вперед, на запад, чтобы, уже не останавливаясь, дойти до самого Берлина, — только спустя семь дней, когда все это произойдет и в освобожденной Рындишке, на еще дымящейся от боя

окраине Володин снова встретится с членом Военного совета фронта, то важное, чего он не может понять сейчас, стоя на шоссе, неожиданно откроется ему в одной несложной фразе: «Мы — русские солдаты!» Услышит ее от члена Военного совета фронта. Может быть, потому, что слово «солдат» в таком сочетании поднималось над всеми воинскими званиями, даже над генеральским, даже над маршальским чином, а слово «русский» связывало с историей России, с лучшими ее страницами — Бородинским сражением, Севастопольской эпопеей, Севастопольской страдой, как назвал ее Сергеев-Ценский; но, может быть, потому, что Володин сам ощущал все это и только не мог выразить свои чувства одной фразой, и теперь, услышав эту фразу, вдруг понял, насколько проста и несложна истина, — он с гордостью мысленно повторил ее: «Мы — русские солдаты!» В Рындишке Володин уже не будет смущаться генерала; они разговоятся, как старые знакомые... Володин стоит на шоссе и смотрит, как оседает на обочину поднятая «виллисами» пыль. Еще до встречи в Рындишке семь дней, тяжелых, с горечью, отступлений; еще не прожит даже сегодняшней, полный для Володина неудач и огорчений; еще немцы только начали вторую атаку, и надо спешить к траншее, к своему взводу. Теперь, когда на шоссе он был один, он отстегнул оторванную портупею и отшвырнул ее в сторону, отряхнул гимнастерку, поправил звездочку на пилотке, словно готовился на доклад, и, подтянутый, строгий, обновленный, каким давно уже не чувствовал себя, пошел навстречу метавшимся впереди по полю разрывам.

Сперва он шел прямо, не сгибаясь, и шаг был размашист и тверд, но, как только вошел в полосу, где рвались снаряды, пригнулся и побежал; он бежал неровно, боком, будто боролся со встречным ветром, будто обязательно нужно было плечом рассекать тяжелую встречную волну; бежал так, будто это могло спасти его от жужжавших над головой осколков. Бой между тем нарастал, земля стонала от залпов; вторую атаку немцы вели интенсивнее, напористее, потому что были разъярены и стремились расквитаться за неудачу. Володин инстинктивно угадывал это и спешил поскорее добраться до траншеи, но спешил уже не столько за тем, чтобы ощутить в руках неровную дрожь пулемета и увидеть, как падают, подкошенные пулями, фигурки атакующих, не столько за тем, чтобы не допустить ни одной ошибки и не просто швырять гранаты в танки, а кидать прицельно — не эта мысль, а другая овладела лейтенантом, и он торопился потому, что там, в



траншее, были люди, там были солдаты, а здесь, в поле, — никого, только он и мечущиеся вокруг разрывы.

Володин не успел вовремя добраться до позиций своего взвода, он был как раз на полпути между развилкой и траншеей, а лавина вражеских танков, миновав гречишное поле, уже ворвалась в расположение роты и утюжила окопы. Володин не предполагал, что танки так близко, и, когда сквозь поредевшие клочья дыма и пыли неожиданно увидел лавину, увидел ее, двигавшуюся не по ту, а уже по эту сторону желтой извилистой линии траншеи, секунду стоял в нерешительности, не желая верить в то страшное, что открылось взгляду, в то, в каком положении оказался он, стоящий на голом поле один перед надвигающейся лавиной, и нет при нем никакого оружия, даже пистолета (пистолет забрал младший сержант Фролов, когда Володина, угоревшего, контуженного, полуживого, как показалось всем, отправляли в санитарную роту); он кинулся к ближайшей воронке, скатился в нее, но сейчас же выпрыгнул назад, отлично сознавая, что воронка — это не убежище от танков; он метался по полю, как только что метались разрывы, и не видел поблизости ни одного окопа, ни одной щели, а дым редел, пыль оседала, и каждое мгновение его могли заметить из танков. «Все, теперь все, теперь наверняка все!» Он остановился и в отчаянии стиснул кулаки — как черные глыбы, надвигались на него танки. Они ползли, как и в прошлый раз, страшные, огромные, только теперь их вроде было больше, потому что Володин смотрел на них, стоя во весь рост, и видел всю лавину разом; он понимал, что спастись уже невозможно, но глаза продолжали искать укрытие, взгляд скользил по сухой траве и не находил спасительной желтой полосы окопа. Тогда Володин снова бросился к воронке, прыгнул в нее и припал лицом к земле.

«Я слышал, как гудит земля, когда приближаются танки. В трудную минуту я не читал молитв, не к святой деве Марии, не к божьей матери обращался мыслью; я прижимался к тебе, земля, милая, древняя, на километры пропитанная отцовским потом и кровью, и каждый раз ты, солдатская защитница, снова и снова дарила мне жизнь». Грохот удалялся, а Володин все лежал, не шевелясь, не поднимая головы, только чуть расслабив онемевшие мышцы, и прислушивался, как гудит и вздрагивает теплая, нагретая солнцем земля; ему казалось, что не только тот пятачок, на котором он лежит, а весь земной

шар содрогается от ударов; и ближние разрывы, и дальние, глухие, и совсем далекие, гремевшие за пределами соломкинской обороны, по всей извилистой линии фронта, которую Володин вычерчивал для себя на ученической карте и которую ощущал сейчас, именно ощущал, как собственное тело, — эти разрывы, этот гул удалявшихся танков, как шифр, докатывались до слуха и горячили воображение; он не видел, но знал, что творилось вокруг; он вдруг ясно представил себе, что весь бой повторился сначала: как и в тот раз, танковая лавина устремилась к развилке, а немецкие автоматчики, как и в тот раз, отсечены и залегли впереди траншеи, и капитан Пашенцев следит за ними в бинокль, за малейшим маневром противника; как и в тот раз, пулеметы уже наведены, уже раздались первые очереди, и только его, лейтенанта Володина, нет сейчас на своем месте; земля передает все звуки, и он читает их, не в силах подняться не столько от пережитого страха, как от ноющей боли в контуженном плече... Однажды, спустя много лет после войны, в такой же солнечный полдень, как и этот, случится Володину лежать на берегу Псела, совсем недалеко от шоссе, уходящего на Обоянь; не простое любопытство, а журналистская дорога приведет его в эти края, где гремела уже ставшая историей Курская битва, но где каждая горсть земли, с тех пор десятки раз перепаханная плугом, все еще хранит запах сожженного тола; будет лежать на траве и смотреть на белые облака, проплывающие над рекой, над мостом, и рядом, у изголовья, — не автомат, не офицерская планшетка с боевой картой, а дорожный пиджак с глазком авторучки над карманчиком, пачка утренних газет и блокнот с набросками очерков; будет лежать один, не замечая ни тишины полей, ставшей уже привычной, ни тишины шоссе, когда-то главной артерии фронта, шоссе, убсгающего на Обоянь, опустевшего в этот знойный час, ни прохлады с реки, ни мягкого солнца, припекающего плечи; не отзовется на окрик с того берега, и не потому, что разнежится и задремлет, — он неожиданно обнаружит, что и в мирный летний день земля гудит, хотя на шоссе ни повозки, ни автомашины, хотя поблизости, в поле, ни одного трактора; он будет лежать и слушать этот монотонный сиротливый гул, сначала удивляясь тому, как много знакомых звуков хранит и передает земля; бывший командир стрелковой роты, выдавший танковые лавины не только на Курской дуге, но и у озера Балатон, под Секешфехерваром, где немцы бросили в бой одновременно одиннадцать танковых дивизий под командованием генерал-

фельдмаршала Гудериана, — бывший старший лейтенант, теперь литературный сотрудник областной газеты, он сначала с улыбкой произнесет: «Как точно, бывало, по звукам определяли картину боя!» — вспомнит Соломки, воронку, где лежал, одинокий, беззащитный, а мимо с оглушительным ревом проносилась лавина вражеских танков, и эти воспоминания, и гул земли, как голос столетий, ни на секунду не смолкающий, заставят подумать не только о недавних боях, но и о далеких битвах; он услышит в этом гуле и рев моторов, и ухающие звуки разрывов, и цокот копыт половецких коней; земля гудит с тех самых пор, как над ней пропеслась первая стрела, пущенная человеком в человека; были печенежские набеги, наседали янычары с кривыми саблями, польские шляхтичи и тевтонские рыцари поднимали копья на русские города, приходили шведы, французы, гремели сечи, баталии, люди падали от стрел, мечей, свинца, и потому слышится настороженность и скорбь в протяжном земном гуле; но сквозь толщу веков доносятся и другие звуки — победные, они заглушают собой все, они всегда воспринимаются сильнее; они навеют Володину гордые мысли. Как в осенние дни сорок первого, когда по булыжной мостовой, уже запорошенной снегом, шли к вокзалу серые колонны солдат, мокро поблескивали штыки и гулко, в такт печатному шагу звенела песня: «Пусть ярость благородная...» — как в дни боев, когда Володин уже сам падел серую шинель, и круг человеческих страданий все шире раскрывался перед ним, и он познавал страх и мужество; как в те далекие дни; когда впервые не по книгам понял, что такое Родина, впервые ощутил себя частицей большой и мощной страны, — здесь, на берегу Псела, спустя много лет после войны он вновь переживает волнующие минуты; еще неизвестный журналист, он задумывает написать книгу о том, как умеют умирать русские солдаты; не жажда славы, а неодолимая потребность рассказать людям, что видел, пережил, та потребность, без которой не было бы ни традиций, ни преемственности, ни истории, приведет его к этому решению. Он не вскочит и не заликует от радости, что возникла в голове такая мысль; он сначала даже испугается этой мысли; неторопливо выйдет на шоссе, поднимет руку и с попутной машиной уедет в Обоянь, потом в Курск; потом — матовый свет настольной лампы, ночи мучений, стопы исписанной бумаги, пепельницы, переполненные окурками, прочитанные и непрочитанные тома, архивные документы; он снова поедет по Обоянскому шоссе через Псел, Ворсклу к местам боев; там, где была глубокая

воронка, где он лежал, полуживой от страха, прислушиваясь к грохоту удалявшихся танков, — там теперь свекловичное поле, и он пойдет мимо рядков густо-зеленой ботвы, чужой, странно задумавшийся человек для других, и окрестность оживет в его глазах угарной и дымной картиной войны. Он мысленно прочертит линию от березового колка к стадиону, где была траншея, вспомнит первые минуты боя, как черный танковый ромб стоял перед гречишным полем, а «юнкеры» бомбами разминировали проход, но, вспоминая, уже будет смотреть на события и оценивать их не просто как рядовой лейтенант, который знает ровно столько, сколько ему положено знать, а как человек, хорошо изучивший обстановку; не только соломкинская оборона и те последующие семь дней изнурительных отступательных боев вдоль шоссе до Богдановки и Владимировки через Красную Дубровку, Верхопенье и хутор Ильинский, не только сражение на белгородском направлении, где держали фронт Шестая гвардейская, Седьмая гвардейская, Первая танковая и Шестидесят девятая армии, куда подходили резервные части Пятой армии генерала Жадова и Пятой гвардейской танковой армии генерала Ротмистрова, — не только Воронежский фронт, а вся Курская битва будет так же отчетливо представляться Володиному, как тогда, в тот июльский день 1943 года, представлялся маленький клочок земли между березовым колком и стадионом, который удерживала его рота. Он усмехнется, подумав о Манштейне, о фашистском фельдмаршале, которого никогда не видел ни в жизни, ни на портретах, но которого мог легко представить в воображении, типичного немца, сухощавого, долговязого, с тонкими, плотно сжатыми губами; фельдмаршал перед самой битвой вылетел в Берлин оперировать гланды, и когда потом с белгородских высот, из сухого окопа с бревенчатыми стенами, наблюдал за ходом сражения, когда в первый же день битвы увидел, как одна за другой срывались атаки ромбовых танковых колонн, заставил перевязать себе горло, а на следующее утро, когда встретился с командующим оперативной группой «Кемпф», действовавшей на правом крыле и тоже не имевшей успеха, с досадой сказал, что допустил большую глупость, согласившись оперировать гланды, но что еще большей глупостью было ехать на фронт с незажившими ранками... Володин усмехнется, вспомнив эту о п р а в д а т е л ь н у ю деталь о фельдмаршале, прочитанную в одном из воспоминаний немецких генералов, — ведь писали же историки, что Наполеон проиграл Бородинское сражение только потому, что у него был насморк! Володин еще

долго будет раздумывать над событиями тех лет. В те дни, когда на Курской дуге решалась судьба войны, когда соломкинцы отбивали атаки немецких танков, может быть, в те самые минуты, когда он, Володин, лежал в воронке, когда тысячам таких, как он, было не вмоготу тяжело, солдаты союзных армий пьяно горлапили песни в кабаках Туниса и Алжира и операция «Эскимос», о которой так обнадеживающе писал английский премьер-министр, откладывалась, как и открытие второго фронта в Европе, из-за «недостатка десантных плавучих средств». Разморенный жарким тунисским солнцем, генерал Эйзенхауэр, или генерал Айк, как его звали в правительственных кругах, вместе со своим начальником штаба генералом Битллом разбирал результаты экспериментальных воздушных налетов на острова Пантеллерия и Лампедуза. Острова, между прочим, давно уже были нейтрализованы, отрезаны от всех источников подкреплений, а гарнизоны их, состоявшие из инвалидных итальянских команд, были готовы по первому требованию поднять белый флаг. Но генерал Айк не желал рисковать вверенными ему войсками. Вся английская и американская стратегическая авиация, находившаяся в его распоряжении, два месяца подряд бомбила Пантеллерию и Лампедузу; потом к островам была послана армада кораблей, и спустя несколько часов командующий Седьмой американской армией генерал Паттон и командующий Восьмой английской армией генерал Монтгомери радиовали генералу Айку: «Высадка прошла без единого выстрела!» Как раз в те дни, когда под Курском горела земля от взрывов, генерал Айк в сопровождении свиты генералов и полковников с удивлением осматривал занятые острова (потери противника от воздушных налетов были поразительно невелики: в глубоких подземных ангарах стояли неповрежденные самолеты, из береговых батарей лишь две были выведены из строя), а солдаты союзных армий, утомленные высадкой, изнывавшие от жары и безделья, требовали двойную порцию мороженого... И эту картину так же отчетливо представит себе Володин, будто когда-то сам видел ее; странно задумавшийся человек на свекловичном поле, он мысленно охватит весь мир, все события, которые совершались тогда, в дни битвы, на разных континентах земного шара, события, которые должны были облегчить участь русских солдат, но которые оказались настолько незначительными, что никак не повлияли на Восточный фронт, и немцы не ослабили, а, напротив, продолжали перебрасывать из Италии и Франции в Россию все новые и новые дивизии.

И номера этих дивизий, их вооружение — архивные документы расскажут все — будет знать Володин, и оттого одержанная победа покажется ему еще величественнее; как открытие, как нечто новое, еще никому не ведомое, и тут же, среди рядков густо-зеленой ботвы, он торопливо запишет в блокнот: «Курская битва — золотая страница русской истории!» Запишет и с недоверием покосится на белый бумажный листок — неужели нужны были тысячи смертей, тысячи развороченных снарядами и раздавленных гусеницами солдатских тел, чтобы вот так, неожиданно, родилась эта возвышенная фраза: «Золотая страница...»? «Нужны! Надо было отстоять Родину, свободу!»

Атака была отбита, солдаты убирали трупы и поправляли стрелковые ячейки, а по траншее ходил младший сержант Фролов с двумя трофейными парабеллумами за поясом и охриплым басом подавал команды. Он был так возбужден и успешно закончившимся боем, и больше тем, что ему доверили командовать ротой, и с таким усердием выполнял свои новые обязанности, стараясь подражать Пашенцеву, стараясь быть спокойным и сдержанным, но, тут же забывая о сдержанности и горячась, снова по-своему, по-сержантски, накрывал богом и чертом какого-нибудь замешкавшегося бойца, — Фролов недовольно поморщился, когда услышал, что из санитарной роты вернулся в траншею лейтенант Володин.

Сказал об этом Щербаков, тот самый с бородавками на пальцах солдат, бежавший по стерне без сапог в контратаку; он все еще был босой и теперь, стоя перед младшим сержантом, виновато переминался с ноги на ногу.

— Какой еще лейтенант?

— Наш, Володин.

— Почему до сих пор не обут? Где сапоги?

— Они в... в окопе...

— Завалило? Сними с убитого. Ты же солдат, Щербаков!

Когда младший сержант пришел на командный пункт, Володин уже был там и все знал: и о себе, как и кто вытащил его из-под горевшего танка, и о положении роты — из четырех взводов едва ли можно было сейчас собрать полтора, но и эти, оставшиеся в живых, были утомлены и голодны, а вода в ведре, которая еще имелась в блиндаже, выдавалась только по глотку раненым; он уже знал, как восемнадцать бойцов его взвода вместе с капитаном Пашенцевым ходили в контратаку, и досадовал, что все это случилось без него; даже такая подробность, будто в Соломки приехал генерал и теперь сам

будет командовать боем, — даже эта подробность, откуда-то просочившаяся в траншею, была немедленно рассказана Володину, и он, хотя и сразу понял, о каком генерале идет речь, не стал опровергать солдатскую выдумку, а только улыбнулся, и кивком головы, и улыбкой соглашаясь с мнением рассказчика; Фролову он протянул руку, потом обнял младшего сержанта за плечи и долго еще не мог ничего сказать, кроме двух слов:

— Жив, черт! Жив, черт!

Немцы почти не стреляли, лишь изредка, шурша и шепелявя, проносились над траншеей мина и шлепалась где-то позади, между развилкой и березовым колком; и наши батареи отвечали вяло — или от усталости, или берегли снаряды; но, вернее всего, тихо было потому, что и по ту, и по эту сторону переднего края, отложив автоматы и винтовки, солдаты горбились над котелками с кашей; и бойцы из роты Володина, еще по распоряжению младшего сержанта Фролова, взяв термосы, ушли к походной кухне и бродили сейчас по оврагу, среди воронок, разглядывая изуродованные трупы повара и ездового, трупы коней со вспоротыми животами и самое походную кухню, разбитый котел от которой валялся в одной стороне, а колеса в другой. Бойцы с термосами смотрели на эту обычную картину войны, сожалея о том, что «пропала каша», а в это время младший сержант Фролов, освободившись наконец из объятий лейтенанта, предупредительно говорил ему, что притихли немцы неспроста, что надо ждать новой атаки, а людей в роте мало, и патронов мало, и связи с командным пунктом батальона нет.

— А на линию вышли?

— Давно.

— Тогда почему?..

— Провод изорвало в клочья, концов не найдешь!

— Есть запасная катушка.

— Тоже богу душу отдала...

Володин наклонил голову и потер ладонью лоб; с минуту молча смотрел себе под ноги, обдумывая решение, потом все так же негромко, но уже иным, жестким тоном произнес:

— Возьмите людей, Фролов, и ступайте за патронами.

Фролов ушел, вслед за ним покинул командный пункт и Володин. По ходу сообщения, по которому утром бежал к пулеметным гнездам, выполняя приказание капитана Пашенцева, — по тому же ходу сообщения, теперь почти совсем завалившемуся, он шел к траншее; как и младший сержант

Фролов, он был возбужден и, несмотря на усталость и головную боль, ни на минуту не затихавшую, несмотря на то что все еще ныло и подергивалось контуженое плечо, чувствовал необычный прилив сил — и оттого, что был сейчас среди своих, в роте, а бой еще не кончился, немцы еще пойдут в атаку, и ему, Володину, будет где развернуться, отплатить за свои предыдущие неудачи; и еще оттого, что он теперь уже не командир взвода, а командир роты и идет осматривать позиции, что так же, как о Пашенцеве, теперь о нем будут говорить солдаты: «Наш ротный!» Он не думал о том, справится или не справится с этой новой должностью, какие трудности ожидают его, потому что не знал и не мог представить себе эти трудности, — он брался за дело с легким сердцем, со всей юношеской решимостью и даже немного гордился собой в эту минуту. Может быть, подполковник Табола прав — для того и создана молодость, чтобы совершать ошибки? Володин вглядывался в знакомые солдатские лица. Он прошел мимо бронебойщиков Волкова и Щеголева, которые сосредоточенно считали засечки на глинистой стенке траншеи, считали, сколько было удачных и неудачных попаданий; остановился и поговорил с Белошевым, который будто нарочно сгреб к ногам горку матово-желтых автоматных гильз; прислушался к пулеметчику Сафонову, который, покачивая головой, то и дело с ухмылкой произносил: «Хоть один, да вли! Хоть один, да втюрился!» — кивая на немецкий танк, понавший в танколовушку; а за Сафоновым, дальше по траншее, в окружении солдат сидел Чебурашкин, он только что лазил осматривать тот самый понавший в ловушку фашистский танк и теперь, вернувшись, показывал добытые «трофеи» — открытки с изображением голых женщин, и Володин еще издали слышал шумные голоса:

— И стоило лазить за этой пакостью?

— А ты не кори мальчика, эт-то тоже агитация.

— Ну и фриц, вот стервец, губа не дура...

— Кабы б не развешал вокруг ся бабьих сисек, тады б нам труба.

Володин подошел ближе:

— Что это?

— Шлюхи фашистские...

Белое женское тело, черные распущенные волосы... Открыток было много. Кто-то посоветовал немедленно уничтожить их, чтобы и духу не было; кто-то шутливо предложил Чебурашкину оставить этих «упитанных постельных русалок» на память, на что боец обидчиво ответил: «Сам оставь!» — покраснел

до ушей, но открытку все же не выпустил из рук; кто-то зло заметил: «Каждому по одной — на всю роту!» и ехидно засмеялся; а Володин, хотя ему тоже хотелось просмотреть все эти поблескивавшие глянцем открытки, хотя он и с улыбкой разглядывал первую, — он приказал собрать «немецких шлюх» и вышвырнуть их за бруствер. Это был его первый приказ по роте, и Володин произнес его сухо, сдержанно, как обычно произносил капитан Пашенцев, и потом, уже не оборачиваясь, пошел вперед по траншее. Еще больше, чем младший сержант Фролов, он хотел быть похожим на капитана, и не только внешне, разговором и осанкой, но и обладать той чуткостью, тем непосредственным ощущением боевой обстановки, способностью угадывать и в нужный момент подавать нужную команду, той самой способностью, которая всегда вызывала восхищение и которая как раз и отличала Пашенцева от других командиров. Володин то и дело останавливался, наваливался грудью на бруствер и прикладывал к глазам бинокль; он смотрел так часто не потому, что это было нужно, что немцы могли незаметно подкрасться к траншее и затем неожиданно атаковать, — вся местность от бруствера до гречишного поля, и само гречишное поле, и дальше, до лесной опушки, все было залито ярким солнцем, и, кроме желтых воронок, черных обгорелых остовов танков и тягачей, кроме маленьких, сизых, как пятна, трупов автоматчиков, ничего не было видно, никакого движения, — он смотрел так часто потому, что хотел именно о щ у т и т ь обстановку. Позднее Володин с улыбкой будет вспоминать об этом. Он научится и о щ у щ а т ь, и находить нужные команды, все это придет, и он будет так же легко и умело командовать ротой, как читать боевую карту, и все же первый день Курской битвы, день боевого крещения, ярче всех сохранится в молодой памяти Володина. Когда он, спустя много лет после войны, снова заедет в Соломки, придет на свекловичное поле и, остановившись среди грядок густозеленой ботвы, мысленно прочертит линию от березового колка до стадиона, где проходила траншея, среди прочих воспоминаний отчетливо представит себе и эту картину, как шел по траншее, неопытный, смешной, с одним только желанием совершить подвиг, как отдал первую команду по роте: «Вышвырнуть «шлюх» за бруствер!» Но солдаты тогда не выполнили приказание, открытки растеклись по траншее, и в красноармейских книжках, в документах, которые приносили Володину и которые он сам забирал у убитых в тот день, попадались и эти омерзительные снимки...

Володин шел по траншее, то и дело останавливаясь и направляя бинокль в сторону белгородских высот; больше, чем кто-либо, он был насторожен и готов к бою, и все же, когда кто-то из солдат зычным голосом крикнул: «Воздух!» — Володин откатнулся к стене, будто вражеский самолет уже шел в пике и уже прижимающим, шепелявым тоном запела над головой бомба.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

С того часа, как Пашенцев принял батальон, еще ни минуты он не был свободен; и обедать сел не потому, что ощущал голод, — просто бывший ординарец майора Гривы принес на командный пункт хлеб и котелок с дымящейся кашей и поставил все это перед капитаном; но и обедая, Пашенцев то и дело оборачивался и спрашивал: не восстановлена ли связь с третьей ротой? Он даже подозвал старшину-связиста и послал его самого на линию. Но чаще всего Пашенцев смотрел на близорукого сутуловатого лейтенанта, бывшего сельского учителя естествознания, который старательно вписывал в лежащие перед ним красноармейские книжки одну и ту же фразу из трех слов: «Погиб смертью храбрых!» — потом крестом перечеркивал фотографии, ставил число, месяц и свою фамилию внизу, — смотрел Пашенцев с нетерпением и наконец, не дождавшись, пока тот закончит, строго спросил:

— Много еще?

— С десяток.

— Поторопитесь, лейтенант, есть важное задание.

— Хорошо, хорошо, — совсем не по-военному, а так, как сотни раз, наверное, отвечал своему директору школы, выслушивая поручения, — совсем не по-военному ответил близорукий лейтенант, понимающе кивнул и опять, склонившись, — очки он так и не нашел тогда — принялся вписывать все ту же фразу в красноармейские книжки, теперь будто проворнее, но на самом деле, как и прежде, с тем же фанатическим старанием выводя буквы: «...смертью храбрых!»

— Кому нужна эта каллиграфия!

Но Пашенцев не мог сердиться на этого человека, которому — прикажи сейчас пойти и убить Гитлера, и он встанет и пойдет, хотя до Берлина тысячи верст, пойдет, не спросив дороги, не посоветовавшись, как лучше выполнить задание и можно ли выполнить вообще, или оно совершенно бессмыс-

ленное и невыполнимое; пойдет, потому что поверит — так надо, раз приказывает старшее начальство. Подумал Пашенцев об этом не осуждая, а удивляясь; то, что случилось час назад, дало ему повод так подумать; капитан улыбнулся, вспомнив, как час назад этот близорукий сутуловатый лейтенант водил в атаку бойцов резервной группы. А случилось вот что: к стадиону, где стояла противотанковая батарея, прорвались немецкие автоматчики, они обстреляли артиллеристов и, рассредоточившись, стали заходить в тыл первой роте. Пашенцев приказал лейтенанту поднять только что сформированную из тыловиков подвижную резервную группу, незаметно провести ее в тени изб и плетней к стадиону и атаковать противника. Лейтенант выполнил задание, немцы были отбиты, и даже захвачен пленный — раненый унтер-офицер, которого лейтенант сам принес на спине в окопы, на командный пункт; но притащил он уже мертвого немца и потом обливал водой, чтобы привести в сознание и допросить... Унтер лежал как раз на том месте, где теперь сидел лейтенант и делал записи в красноармейские книжки; на гимнастерке, обтягивающей худую и сутулую спину лейтенанта, виднелись расплывшиеся черные пятна уже успевшей подсохнуть чужой крови.

Связи с третьей ротой все еще не было, и Пашенцев с заметным раздражением отодвинул котелок, уже опорожненный, бросил в него ложку и, хмурясь, подошел к связисту:

— Не отвечает?

— Нет.

Теперь ему были одинаково видны и согнутая спина связиста, который то и дело уже безнадежным тоном выкрикивал в трубку позывные, и сутулая спина лейтенанта, который либо солгал, что у него осталось всего «с десяток» красноармейских книжек, либо просто затягивал работу; и связист, и лейтенант — оба вызывали досаду, и капитан, чтобы сохранить спокойствие, прислонился к брустверу и принялся в бинокль разглядывать вражеские позиции. Ни за гречишным полем, ни на лесной опушке, откуда уже трижды выползал черный танковый ромб, не было видно противника. Именно этим затишьем Пашенцев и хотел воспользоваться, чтобы успеть сделать кое-какие приготовления к отражению новой атаки. Особенно беспокоила третья рота, его рота, где не осталось в живых ни одного офицера, а младший сержант Фролов хотя и расторопный, хотя и есть в нем командирское чутье, но все же он только младший сержант и в бою может не все учесть и растеряться; Пашенцев не знал, что в траншею вернулся лейтенант Володи

и сейчас, как раз в этот самый момент, осматривает позиции, что вопрос с третьей ротой уже решен и надо думать о другом, — он опять, в который раз в эти полчаса, принялся мысленно перебирать фамилии офицеров батальона, кого можно было направить в третью; близорукий сутуловатый лейтенант казался самой подходящей кандидатурой, с ним капитан и хотел поговорить и потому снова взглянул на сгорбленную спину лейтенанта, на расплывшиеся пятна крови по гимнастерке, и подумал: «Странный человек!» Странным казалось и то, как лейтенант не пригибаясь под пулями и осколками, повел бойцов в атаку, и то, как он панически бежал по огородам, спасаясь от вражеского танка; и бесстрашие, потому что он совершенно спокойно, будто сделал обычное дело, докладывал о своей удавшейся атаке, и трусость, потому что с тем же спокойствием и без смущения, будто в этом действительно не было ничего предосудительного, говорил о паническом бегстве; он больше испугался, когда вдруг обнаружил, что унтер мертв, — Пашенцев вспомнил, какой виновато-растерянный и испуганный вид был в ту секунду у лейтенанта. «Службист, исполнитель чужой воли, и несколько самостоятельности. Впрочем, какая тут к черту самостоятельность, все мы — только исполнители чужой воли, всем нам с детства, со школьной скамьи преподносили только готовые, завернутые в пергамент истины и не научили думать; может быть, эта война научит размышлять?» Однако как ни старался Пашенцев хотя бы перед самим собой оправдать поступки лейтенанта, именно безынициативность бывшего сельского учителя естествознания больше всего и настораживала его; он был уверен, что, если бы майор Грива приказал подбить танк, лейтенант не пустился бы в паническое бегство, а с поднятой в руке гранатой ринулся на вражескую железную машину (граната, кстати, висела у него на поясе), не задумываясь над тем, что может погибнуть, а помня только одно, что нужно выполнить приказ, — Пашенцев был почти уверен, что это так, и мысленно прикидывал, насколько это хорошо и насколько плохо. «Инициатива придет, ничего, и думать научится, когда своя вошь укусит», — он все еще смотрел на сгорбленную спину лейтенанта и расплывшиеся пятна по гимнастерке, но взгляд был спокоен и мысли текли ровно, потому что то, что тревожило его все эти последние полчаса, теперь объяснилось одной фразой: «Научится, когда своя вошь укусит!» Он еще подумал, что близорукий лейтенант, переписавший сотни бумаг в штабе, сам, наверное, давно рвется на строевую должность, потому что, как полагал Пашенцев,

каждый офицер мечтает об этом, — сам, наверное, рвался и сейчас должен обрадоваться своему назначению. «Впрочем, это мы сейчас увидим!» Но увидеть не удалось, на командный пункт пришел Фролов; еще издали Пашенцев услышал бас младшего сержанта: «Капитан здесь?» — и Пашенцев сразу узнал этот голос.

— Зачем пришел, Фролов?

— За патронами, товарищ капитан.

— А люди, рота?

— Там лейтенант Володин, — возразил младший сержант, для которого это давно уже не было новостью.

— Володин?!

— Да. Не ранен, не контужен. Говорит, только угорел под танком.

— Он уже принял роту?

— Да.

— Сколько человек в роте?

— Шестьдесят два.

— Пулеметов?

— Два разбито, остальные все целы.

— Хорошо, Фролов, идите, получайте патроны. — Пашенцеву хотелось поподробнее расспросить о Володине, но он сдержался; он всегда считал Володина смелым командиром и теперь был доволен, что не ошибся в человеке; немцы все еще не стреляли, все еще длилось затишье между атаками, и Пашенцев решил, что успеет сам сходить в расположение третьей роты, посмотрит позиции, поговорит с Володиным и пожмет ему руку.

Когда близорукий сутуловатый лейтенант, бывший сельский учитель естествознания, подошел и доложил, что работу закончил и готов выслушать новое задание, Пашенцев взглянул ему в глаза и негромко проговорил:

— Задания пока не будет.

— Тогда разрешите, я схожу к своим, — лейтенант назвал «своими» тех самых бойцов из резервной подвижной группы, которых водил в атаку. — Они на запасной траншее, помните, что тянется от стадиона к низам огородов? Это как раз на стыке рот. Ее завалило, так я... я приказал расчистить ее, — уже смущенно закончил лейтенант.

— Идите.

Только когда сутулая спина лейтенанта скрылась за поворотом хода сообщения, Пашенцев подумал: «А ведь это инициатива!» — и улыбнулся этой запоздало пришедшей мысли.

Все пока складывалось для него хорошо: и то, что Володин вернулся в роту, — хороший признак, в этом, конечно, сказало его, капитана Пашенцева, воспитание; и то, что он так же, как и в Володине, не ошибся в близоруком сутуловатом лейтенанте, что лейтенант оказался гораздо лучше, чем о нем думал Пашенцев; и выигранный первый бой, когда он еще командовал ротой, и этот второй, тоже выигранный, когда он уже принял батальон, и уверенность в том, что будут отбиты следующая и еще следующая атаки, потому что есть патроны, есть пулеметы и солдаты обозлены и решительны; но главное, что приятно волновало капитана, — недавний приезд члена Военного совета фронта в Соломки. Конечно, Пашенцев был далек от мысли, что генерал приезжал в село только затем, чтобы поздравить его с наградой, но именно это радовало и поднимало настроение. Значит, заметили, значит, удастся наконец восстановить свое доброе имя командира, а заодно и звание полковника, и, может быть, снова получить полк? Хотя он, как ему казалось, давно примирился со своей участью, но в душе всегда теплилась надежда на лучший исход, и вот теперь вынадал случай одним разом смыть, стряхнуть с себя совершенно незаслуженное, как он считал, грязное пятно. Все, что он с этой минуты делал, — он делал с особым вдохновением и надеждой, но внешне по-прежнему оставался спокойным, холодно-спокойным, и никто, даже Табола, когда они встретились на командном пункте артиллерийского полка, возле развалин двухэтажной кирпичной школы, не заметил ни в жестах, ни в лице капитана ни тени волнения.

Подполковник Табола между тем тоже думал о недавней встрече с членом Военного совета фронта. Его не удивляло, что генерал так рискованно приехал сюда, на передний край, едва лишь затихла артиллерийская канонада, — за войну приходилось видеть разных генералов, и таких, которые относили свои командные пункты за семь верст от окопов, и таких, которые и в стрелковой ячейке, рядом с солдатом, чувствовали себя так же отлично, как в блиндаже под накатами бревен; ничего необычного не было и в том, что генерал лично хотел увидеть Пашенцева, увидел, пожал руку и сказал, что представит к награде, что капитан, вернее, уже может считать, что на его груди висит орден Александра Невского, — ничего необычного не было и в этом, потому что Табола помнил такой случай, когда командир какой-то стрелковой дивизии на глазах у всех

снял со своей груди орден и приколот его к гимнастерке отличившегося бойца, и это в сорок первом, когда отступали все и повсюду и строем, и толпами, и поодиночке, когда еще и в помине не было ни битвы под Москвой, ни сражения на Волге и победный блеск серии зеленых ракет под Калачом, где замкнулись гигантские клещи двух фронтов, еще даже и в грезах не снился ни командующим, ни солдатам; недолго размышлял Табола и над тем, что рассказал член Военного совета о событиях на других участках фронта: туго приходится, всюду танки, танки, танки, подразделения с трудом удерживают оборону, так оно и здесь, в Соломках, не легче, здесь тоже танки, танки, танки, а до вечера еще далеко, еще кто знает, как может обернуться дело; и сообщение генерала, что на северном выступе Курской дуги, в районе Орла, немцы в это утро тоже перешли в наступление, — и это не было большой новостью, потому что наступления ждали с двух сторон, с севера и юга, к нему готовились, а важным было другое, что так же, как и здесь, на белгородском направлении, Шестая гвардейская, так же стойко отбивает натиск врага на орловском направлении Тринадцатая армия, а на участках дивизий полковника Джанджгавы и генерала Барина, где атака следует за атакой, где немцы наносят основной удар, солдаты не отступили ни на один метр, — это было главным и важным в рассказе, и все же подполковник Табола, вспоминая сейчас о встрече с членом Военного совета, думал совершенно о другом. Приезд генерала напомнил ему об иных боях — сорок первый год, отступление из-под Киева; тогда штаб Юго-Западного фронта, которым командовал генерал-полковник Кирпонос, находился в Прилуках, и Табола, артиллерийский капитан из командирского резерва фронта, был прикомандирован к штабу (дивизионы расформировывались, не хватало орудий), дежурил в приемной командующего; вспомнился именно этот сентябрьский день, когда он дежурил и когда неожиданно в приемной появился начальник оперативного управления фронта генерал Баграмян, тот самый генерал, с которым Табола уже спустя несколько дней пробивался из окружения к Гадячу. Вся трагедия четырех армий — Двадцать первой, Пятой, Тридцать седьмой, Двадцать шестой, — попавших в окружение на Киевском плацдарме, произошла на глазах или почти на глазах у Табола; в е к а н е с т и р а ю т н о з о р а н а ц и и; все, что он увидел потом: отступающие солдатские толпы, обугленные железнодорожные составы, колонны подорванных грузовиков, их подрывали потому, что не было горючего, людские трупы,

выброшенные волнами на отмели ниже переправ, — в тот день дежурства как бы приподнялась завеса над этими горькими картинами первых месяцев войны; не все наши поражения происходили только оттого, что немцы были сильнее нас; в приемной еще держалась известковая пыль, а на полу валялись выбитые взрывной волной стекла, и они хрустнули под сапогами вошедшего генерала Баграмяна; это хорошо запомнилось — и хруст, и запыленный плащ, и желтый блеск пуговиц на кителе; Табола прошел к командующему, чтобы доложить о прибытии начальника оперативного управления, но Баграмян почти следом за ним открыл дверь; Табола слышал начало разговора двух генералов:

«Привез приказ».

«Отлично. Давай...»

«Устный. Военный совет направления предлагает нам оставить Киев и отвести войска на рубеж реки Псел, пока это еще возможно, пока немцы не замкнули кольцо. Отвод начать сегодня же ночью».

«А как думает командующий направлением?»

«Отводить!»

«Но у меня есть другой приказ — Ставки Верховного Главнокомандования. Я только вчера лично разговаривал с Верховным».

Кольцо замкнулось, войска попали в окружение; их никогда не забыть, ужасы отступления, кровавые картины переправ; кому-то суждено было прорваться и выйти к своим, кому-то мучиться в фашистских концентрационных лагерях смерти... Спустя семнадцать лет после войны генерал Табола, седой генерал в отставке, взявшийся изучать историю, размышляя о Киевском сражении, проникнется еще большей ненавистью и презрением ко всему нерешительному, трусливому. Но до того как Табола, отставной генерал, примется изучать историю, заполнит первый листок дневника, еще далеко, еще никто не знает, чем закончится Курская битва, еще идет только первый день этой битвы, и он, артиллерийский подполковник, стоит на наблюдательном пункте, возле развалин двухэтажной кирпичной школы, курит трубку, смотрит на капитана Пашенцева — странно знакомое лицо у этого капитана! — и думает о Прилуках, о приемной командующего, где пахло известковой пылью и на полу валялись выбитые взрывной волной оконные стекла...

— Вы знакомы с генералом?

— С каким? — удивленно переспросил Табола.

— Который сегодня приезжал к нам.

— Да, знаком. Я знаю его еще по сорок первому, когда он был членом Военного совета Юго-Западного направления...

Табола снова набил трубку и раскурил. Он не стал рассказывать то, о чем думал и вспоминал; гибель четырех армий и гибель командующего (под хутором Дрюковщина Кирпоноса тяжело ранило) — все это было слишком большой болью, чтобы вот так, двумя — четырьмя словами, высказать ее.

Но Пашенцеву непременно хотелось поговорить о приехавшем в Соломки генерале, и потому он снова спросил:

— Как вы думаете, проскочили «виллисы» или нет? Огонь был плотный.

— Да, стреляли густо.

— По шоссе, по шоссе, по развилке...

— Думаю, проскочили все же, — Табола сказал неуверенно, но он точно знал, что «виллисы» проскочили; он разговаривал по телефону с командиром четвертой батареи, стоявшей у развилки, и еще посылал солдата на шоссе, который, вернувшись, доложил, что ни на полотне дороги, ни на обочинах разбитых «виллисов» не обнаружено. — Думаю, проскочили... Не беспокойтесь, капитан, генерал сдержит слово, награда вам обеспечена.

Совсем не о награде думал Пашенцев, и эти слова подполковника были оскорбительными, но он промолчал; с тех пор как он побывал в окружении и лишился звания полковника, он привык молча переносить обиды; он был уверен, что Табола и тот заросший артиллерийский капитан под Малыми Ровеньками, на Барвенковском, — одно и то же лицо, и намеревался поговорить об этом, потому что генерал, конечно, хотя и за-метил его, капитана Пашенцева, хотя и заглянет в личное дело, когда будет составлять наградную, все же неплохо, если кто-то третий подтвердит, какая сложная обстановка была тогда под Малыми Ровеньками, скажет и о приказе командующего Пятьдесят шестой армией генерала Подласа, — Пашенцев собрался поговорить обо всем этом, но разговора явно не получилось, и он с сожалением подумал, что напрасно завернул сюда, на наблюдательный пункт, что лучше бы прошел мимо и уже был бы теперь на позициях третьей роты и пожимал руку Володи. Он решил встать и уйти, и только одно удерживало его — надо подкрепить левый фланг обороны, и, может быть, подполковник согласится выдвинуть в березовый колок взамен подбитых новые два орудия? И еще нужно было согласовать кое-какие совместные действия, потому что

батальон ослаблен, роты понесли большие потери, а сдать Соломки врагу и открыть его танкам выход к шоссе — это все равно что допустить прорыв обороны фронта. Но вместе с тем Пашенцева не покидала мысль, что еще может подвернуться случай вспомнить о Барвенковском сражении; он словно чувствовал, что если не поговорит с подполковником сегодня, сейчас, то навсегда потеряет эту возможность, и потребуются много усилий, чтобы восстановиться в звании, в партии и снова получить под начало стрелковый полк. Ведь не он, в конце концов, виноват в том, что разыгралось тогда на Барвенковском плацдарме.

Едва Пашенцев начал говорить о левом фланге, о переброске орудий в березовый колок, как над Соломками появились немецкие бомбардировщики, и Табола предложил спуститься в укрытие — отрытый в развалинах кирпичной школы и оборудованный под блиндаж подвал — и переждать там налет.

Когда вошли, подполковник обернулся и сказал:

— Не в пять накатов, не как у вашего майора, но, я думаю, мы не побежим отсюда, а?

В его зажатой ладони дымила трубка; на лице, обращенном к двери, к свету, Пашенцев заметил хорошо знакомую пренебрежительную усмешку. Но Табола, казалось, и не пытался скрывать своего пренебрежения, он еще с минуту стоял так, лицом к двери, выжидательно оглядывая капитана, что тот ответит; он все еще не мог забыть, как майор Грива, толстый, в белой нательной рубашке, бежал по огородам среди грядок зеленой капустной ботвы, и это паническое бегство, и трупы-калачики артиллеристов на площадке, артиллеристов, которые выкатывали орудие, чтобы спасти майора, и само орудие, разбитое, исковерканное, с отсеченным колесом и задраным к небу жерлом, вспомнившиеся теперь, вызвали новую волну негодования; трусость всегда оплачивается чужой смертью, а на войне — десятками, сотнями и смертей; Табола не мог равнодушно смотреть на Пашенцева уже потому, что тот служил под командой майора, уже одно это раздражало артиллерийского подполковника; но была еще причина, отчего он сейчас с неприкрытой неприязнью и насмешкой обратился к капитану, — он решил, что только боязнь потерять награду привела Пашенцева сюда, на наблюдательный пункт, иначе чем объяснить такое настойчивое желание поговорить о генерале? «И здесь, на войне, — шкурничество!» Теперь и смелость — контратака с восемнадцатью смельчаками — представлялась подполковнику по-иному, и он

уже не верил в честность и искренность капитана; он даже не подумал, что может ошибаться, и не хотел вдаваться в подробности; вполупоборот смотрел он на Пашенцева и ожидал, что тот ответит.

Пашенцев едва переступил порог и стоял в тени, и только уши его, тоже побагровевшие, как и лицо, были освещены проникавшим в дверь неярким дневным светом; он сдержался и на этот раз, хотя стоило ему больших усилий, и лишь потому, что от него ждали ответа, негромко проговорил:

— Плохо воспитали.

— Воспитали... — повторил Табола и снова уже мысленно, но с большей усмешкой: «Плохо воспитали!..» Потом еще раз повторил это слово, тоже мысленно, но с гневом; прежде чем начать деловой разговор с капитаном, он несколько раз прошелся из угла в угол сырого, полутемного, оборудованного под блиндаж старого школьного подвала.

О ней говорили разное: будто бы, когда ей было четырнадцать лет, она родила ребенка, но никто ничего не знал, жив ли этот ребенок и где он сейчас или умер; будто бы она с тех самых пор, с четырнадцати лет, с кем только не гуляла: когда еще в Воеводской тюрьме были каторжане — с каторжанами, потом с надзирателями, потом с поселенцами; а когда однажды «Святая Мария», переименованная в «Красный трудовик», привезла в порт Дуэ не арестантов, а добровольцев, когда эти добровольцы разбили лагерь в Воеводской расщелине, перебралась в лагерь к лесорубам и теперь, как говорил старый поселенец из каторжан Карл Карлов, совращала молодых парней. О ней ходили разные слухи, даже такие невероятные, будто бы она на спор в одну ночь переспала с шестью надзирателями и выиграла золотой крестик, около четверти века болтавшийся на жирной надзирательской шее; этот крестик она всегда носила с собой, и, когда Табола впервые встретил ее одну в лесу, у ручья, у огромного серого валуна, когда-то обожествленного гилеяками, а затем испещренного именами арестантов (на валуне, между прочим, было высечено и ее имя — Мария), когда впервые близко увидел ее, полуобнаженную, в черных трусах и черном бюстгальтере, сидевшую на валуне и загоравшую под скудным сахалинским солнцем, — на груди ее переливался искорками золотой крестик. Память бережно хранит события тех лет; в памяти они даже ярче, потому что из отдаления годов все прошлое окрашивается в романтические тона. Серый валун, белые

ноги, спущенные к воде, тощая сахалинская лиственница, одна нагнувшаяся из леса на поляну, трава под ней тоже тощая и редкая, еще никем не примятая, где потом Табола проведет столько ночей с ней, Марией, будет целовать, обнимать ее податливое тело, забыв обо всем, что говорили про нее, не чувствуя ревности, лишь утоляя пробудившуюся мужскую страсть; будет гладить ее волосы, мягкие, пахнущие травой и хвоей, как эта почва, как все вокруг на поляне, у валуна; где пройдет его первая — его, а не ее — брачная ночь, и он, охваченный искренним желанием сделать добро, предложит ей руку. Может быть, для того и создана молодость, чтобы совершать ошибки? Тогда, на Сахалине, Табола не думал об этом, — тогда он еще только шагал в жизнь и ему еще только суждено было познать ее полюсы; он жил и мыслил, как тысячи юношей, его сверстников, тех самых парней и девушек, о которых теперь сложены песни — комсомольцы тридцатых годов!

Все началось в тот день и час у валуна, когда Табола впервые близко увидел ее; этот день не затерялся в памяти среди тысячи других, проведенных потом с Марией; что говорил он, что говорила она, — Табола в любое время мог повторить те грубые прощупывающие друг друга реплики, какими они обменивались при встрече:

— Парень ты видный, да мужского в тебе мало.

— А ты попробуй, испытай.

Она легко соскользнула с валуна и, прежде чем Табола успел что-либо сообразить, руками обвила его шею, всем телом прильнула к нему, и он ощутил ее колени, мягкий, дышащий страстью живот, теплую грудь и губы, внившиеся в его губы; он все еще держал руки в карманах, не решаясь, оттолкнуть или обнять эту прыгнувшую на него женщину, еще не положил ладонь на ее плечо, но уже физически чувствовал все изгибы ее тела, талию, бедра; была ли это та действительная страсть женщины к нему, высокому бригадиру лесорубов, как потом говорила Мария, или была только игра, похоть опытной самки, может быть, в сотый раз решившей проверить свое искусство, — Табола всю жизнь не мог разрешить этот вопрос; он подумал об этом уже минуту спустя, у валуна, когда она снова сидела на сером камне и белые ноги ее слегка касались воды; он вспоминал потом об этом десятки раз — и когда расписывался с ней у дуэского нотариуса, и когда увез в Россию, и когда холодно, не говоря ни слова, ушел из дома в одной капитанской шинели, презирая ее, свою жену, презирая всех женщин на свете; он снова вспомнил об этом теперь, здесь, на

Курской дуге, в Соломках, в сыром, полутемном, оборудованном под блиндаж школьном подвале, где переживал вместе с Пашенцевым воздушный налет, и вновь с мучительной для себя болью подумал: что́ тогда, у валуна, было правдивым и что́ — лживым? Отчего он женился на ней — от любви, из жалости, или было еще что-то третье, стоявшее над всем этим, — высший долг человека? Он хотел перевоспитать ее, сделать честной и порядочной женщиной, женой, матерью. «Воспитание, воспитание, воспитание!» — эти слова Табола тогда слышал на каждом шагу; тогда говорили, что все должно перевернуться и перевоспитаться, вся страна, потому что грядет мировая революция, и он, как тысячи его сверстников, брался, засучив рукава, все переворачивать и перевоспитывать, и судьба Марии стала для него частью этой большой идеи. «Глуп тот, кто думает, что из дерьма можно сделать конфету!» На другой день после встречи у валуна Табола уже был в Дуэ и выполнял ее поручение; в те часы, когда он ходил по городу, отыскивая в магазинах розовую шелковую тесемку — он не знал, что покупал тесемку для золотого крестика, — Мария лежала на грязных тюфяках в объятиях старого поселенца, годившегося ей в отцы, трепала его черную бороду и, смеясь, говорила: «Выхожу замуж, придется тебе поискать другую». Но и после того, как вышла замуж, все время, пока жили на Сахалине, ходила к бородатому поселенцу. Ей так хотелось, она привыкла к этому. Табола ничего не знал; он наверняка ничего не узнает до конца жизни. Напротив, сахалинские годы будут представляться ему самыми светлыми; вспоминая о Марии, он будет вспоминать только два дня — первый и последний, встречу у валуна, ночь под тощей сахалинской лиственницей и деревянный белорусский городок Калинковичи, квартиру с общим длинным коридором, дождливое осеннее утро и ее в то утро, сонно разметающуюся на кровати, розовую, счастливую своим особым женским счастьем, — она спала так, будто самая безгрешная женщина на свете; в то дождливое утро Табола вышел на крыльцо, раскурил трубку, поднял воротник шинели и пошел, не оглядываясь, по выщербленному кирпичному тротуару, еще не зная точно куда, но зная твердо, что уже больше никогда не вернется сюда, в квартиру с общим длинным коридором. Он смотрел вниз, под ноги, на желтые листья, прибитые дождем к тротуару; улица вела к площади, к серому зданию, где размещался штаб части и штаб гарнизона, где он должен был сегодня получить приказ о назначении его командиром гаубичной батареи, — Та-

бола уже побывал на батарее, гаубицы старые, на деревянных колесах, и хотя бывший комбат сказал, что они, эти «старушки», участвовали в штурме Перекопа, все же тоскливо было принимать такую технику; но сейчас, шагая к штабу, он был рад своему новому назначению, и даже деревянные колеса у старых гаубиц казались ему теперь в тысячу раз ближе и роднее, чем то, от чего он уходил — от неудавшегося семейного уюта, занавесок, ковриков, картин дешевых маляров на стенах, так правившихся ей и так ненавистных ему, и от нее самой, сонно разметающейся на белых простынях. Перед уходом он на минуту остановился у ее кровати; золотой крестик, соскользнувший с ее плеча, лежал отдельно, на подушке, маленький, желтый, когда-то около четверти века болтавшийся на жирной надзирательской шее, — Мария не снимала его, и Табола, в первые годы их совместной жизни горячо уговаривавший ее бросить эту ненужную божественную безделушку, наконец смирился, привык и последнее время даже перестал замечать его, но теперь, уходя, смотрел именно на этот крестик с выгравированным изображением распятого Христа; он вдруг понял, почему Мария не послушалась и не сняла крестик — она не отказалась от своей прежней жизни; Табола вспомнил всю ее сахалинскую биографию, и то прошлое, та почти невероятная история с надзирателями и крестиком, которую он слышал тогда в самых разных вариантах, и эта, из-за которой уходил сейчас, — эта была еще грязнее и невероятнее, чем сахалинская, — пробудили в нем еще не испытанное чувство гадливости к женщине. Он стоял и смотрел на нее, сонно разметающуюся на постели, спокойную, счастливую своим особым женским счастьем, на ее детскую улыбку на лице, и эта улыбка вызывала еще большую брезгливость; он не хотел будить и не разбудил женщину, ставшую ему теперь совершенно чужой; и дверь прикрыл за собой осторожно, без стука, потом надавил и услышал легкий щелчок английского замка; когда вышел на крыльцо, швырнул ключ в мусорницу. Он шагал через площадь; сквозь сетку дождя ясно проступало серое здание штаба.

Все, что было после этого дня, было одиноким и бесцветным. Армейские казармы, стрельбы на полигонах по движущимся и недвижимым целям; потом война, битва под Киевом, битва на Барвенковском, под Малыми Ровеньками; потом — серия зеленых ракет под Калачом и этот, сегодняшний бой под Соломками, панически бегущий майор по огороду, трупы-калачики артиллеристов на площадке. «Воспитание!.. Что может

знать капитан о воспитании?!» Табола все еще ходил по блиндажу из угла в угол и сосал пераскुरенную трубку. Он мог бы сказать Пашенцеву, что он думает вообще о воспитании: нужно было не просто уговаривать майора, не гладить по головке, мол, будь, пожалуйста, смелым, решительным, честным, а бросить на кровать с набитыми вверх острием гвоздями, на рахметовскую кровать, и посмотреть, есть ли у этого человека мужество; Табола мог бы еще сказать, что зачем воспитывать то, что не поддается воспитанию: «Глуп тот, кто верит, что из дерьма можно сделать конфету». Но Табола ничего не сказал капитану. Он снова подумал о Марии: где она, что делает, как живет? Она была по ту сторону фронта, за белгородскими высотами, в Калининчиках; в это третье лето войны она, повидавшая людское горе и сама испытавшая ужасы оккупации, насмотревшаяся на казни и аресты, — ночью колуном зарубила пристававшего к ней гитлеровца и ушла из города; ушла от боязни быть схваченной; она пробиралась сейчас сквозь пинские болота к брянским лесам, к партизанам.

— Я согласен, выдвинем в березовый колок два орудия.

— Хорошо бы и на левом фланге иметь подвижную группу автоматчиков. Третья рота настолько ослаблена...

— Имейте.

— Если бы она была у нас!

— Хотите из артиллеристов?

— Да.

— Свободных нет. Впрочем, из взводов управления смогу выделить человек двадцать.

— Это было бы отлично.

Хотя Пашенцеву так и не удалось поговорить с артиллерийским подполковником о Барвенковском сражении, но зато удалось другое — выдвинуть орудия в березовый колок и усилить левый фланг группой автоматчиков; он хорошо понимал, что со своим батальоном должен во что бы то ни стало удержать деревню, потому что от этого зависела, может быть, и судьба фронта, и его личная судьба; ведь, в конце концов, разве можно жить спокойно с позорным, главное — незаслуженно позорным пятном в биографии! Он уходил от подполковника и с радостным, и с тревожным чувством, будто и в самом деле предвидел, что уже никогда больше не встретится с этим нужным ему человеком. «Юнкерсы» еще бомбили, когда капитан вышел

из сырого, оборудованного под блиндаж школьного подвала. Он не пошел в третью роту, потому что опасался, что немцы сразу же после воздушного налета начнут новое наступление, и поспешил на командный пункт. С Володиным он уже говорил позднее, по телефону, когда была налажена связь.

Но немцы на этот раз не сразу начали наступление — около часа «юнкерсы» беспрерывно бомбили село, едва улетала одна партия, как в небе появлялась другая, и все повторялось сначала — вытягивание в цепочку для захода в пики, завывание сирен, оглушительный грохот рвущихся бомб и пыль, все заволакивающая, густая, удушливая; когда в разрывах поднятой пыли проглядывали клочки неба, было видно, как там, вверху, шел воздушный бой, истребители гонялись за истребителями, и рев их моторов, как стон, слоился над землей. Еще последние «юнкерсы» кружились над Соломками, когда начала бить немецкая артиллерия, казалось, и канонада была на этот раз сильнее и длилась дольше, и только после того, как огонь был перенесен в глубину, на опушке леса, перед гречишным полем, снова появился черный танковый ромб. Он полз, расширяясь, шевеля боками, направляя острие опять в центр обороны третьей роты. Пашенцев опустил бинокль; он подумал о солдатах, на которых сегодня в четвертый раз наваливалась эта огромная, громыхавшая гусеницами железная лавина; в эту секунду, пока протирает стекла, Пашенцев успел мысленно охватить всю свою жизнь — узловую Рузаевку, морг в станционном дощатом складе, крестьянскую избу в Малых Ровеньках и чердак, заваленный старой рухлядью, где он, раненный в ногу полковник, лежал на соломенной подстилке, накрытый старым лоскутным одеялом, и по утрам к нему приходила хозяйская дочь Шура, приносила хлеб и листья подорожника для ран, где он создал свою философию жизни: витки вниз с кровавыми зарубками, витки вверх с кровавыми зарубками; особенно ясно он представил себе сейчас эти витки и с горечью и болью подумал: «Когда, чьим отцам суждено поставить точку на спиралях войны?»

Когда черный танковый ромб уже подползал к гречишному полю, к Пашенцеву на командный пункт пришел командир батареи гвардейских минометов, «катюш», и сказал, что прислан командованием поддержать соломинцев. Вместе с ним пришли два бойца и принесли рацию. Не дожидаясь приказа, они тут же принялись настраивать ее и уже через минуту доложили своему старшему лейтенанту, что связь с огневой установлена.

Больше чем чему-либо капитан Пашенцев был рад этой неожиданной помощи, но с тем же спокойствием, как все делал в этот день, сперва пожал руку командиру батареи «катюш», а теперь наблюдал, как тот торопливо набрасывал расчеты, подавал по рации команды.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Из того, что пришлось пережить Володину под Соломками в этот первый день Курской битвы, сильнее всего запомнилось отступление; и не самый момент, когда рота, отбившая шесть танковых атак, покидала траншею, а длинная ночная дорога, батальон, вытянувшийся в полуверстовую колонну, и зарево горевших вокруг деревень. Он шел в середине колонны, во главе своей роты — двадцати оставшихся в живых солдат; шелест подошв о дорожную гальку и стук перекидываемых с плеча на плечо автоматов напоминали шорох и стук засыпаемых могил; Володин никак не мог отделаться от этого впечатления; он снова и снова видел ту глубокую воронку, в которой еще днем, возвращаясь из санитарной роты в траншею, прятался от надвигавшейся танковой лавины и в которой теперь, перед уходом из Соломок, похоронили семерых солдат и младшего сержанта Фролова. Особенно жаль было младшего сержанта. Он лежал на дне воронки, спокойный, серьезный, сделавший свое дело воин, и это спокойствие, это удовлетворенность на мертвом лице поразили Володина. «Не все умирают одинаково, одни — тяжело, другие — легко; и живут не все одинаково, одни — тяжело, другие — легко». Засыпали воронку торопливо, комки земли падали на голенища сапог, неприятным могильным шорохом растекались по гимнастеркам убитых; дольше всех оставался незакопанным младший сержант Фролов, и Володину теперь казалось — теперь, когда картина похорон вставала в воображении, — будто тело Фролова все время выплывало на поверхность; только когда все пятеро, закапывавшие погибших товарищей, подошли к Володину и стали подгребать землю из-под его ног, над могилой быстро вырос невысокий серый холмик. С обочины принесли несколько камней и положили у изголовья. Ни креста, ни звездочки, ни имен на фанерной дощечке, а только четыре серых дорожных камня... Погибли эти семеро и младший сержант уже после боя, когда рота, растянувшись вдоль обочины, проходила через развилку; над дорогой неожиданно

появился немецкий истребитель и обстрелял колонну из пулемета; он пролетел так низко, почти на стометровой высоте, что Володину показалось, будто он увидел лицо летчика. Вспоминая сейчас о погибших, о воронке, над которой теперь высился серый могильный холм, Володин кропотливо восстанавливал в памяти все подробности этого неожиданного воздушного налета: и лицо летчика, и черные кресты в желто-белом обрамлении на крыльях «мессершмитта», и угловато-стремительную форму всего самолета, и клочкотавший огонек у пулеметного ствола; самым странным было то, что никто не слышал шума мотора и не видел самолета, — «мессершмитт» словно вдруг вырос над колонной, и солдаты, понуро шагавшие вдоль обочины, были застигнуты врасплох; они попадали уже тогда, когда струйка цокающих пуль ударила по дороге. «Подкрался, гад, подкараулил, убийца!» Володин кропотливо восстанавливал в памяти подробности налета не потому, что вновь хотел увидеть эту страшную картину, — он просто не мог отделаться от мысли, что семеро солдат и младший сержант Фролов погибли совершенно нелепой, глупой смертью; он подумал, что на войне, пожалуй, большинство погибает нелепо и глупо. Вопросы, на которые он еще вчера мог без труда ответить одной-двумя фразами, сейчас представлялись ему совершенно неразрешимыми. Он вспомнил слова санитаря: «Бьют людей, как мух!» — и эти слова, хотя он и не хотел повторять их, хотя и протестовал против сути, которую они выражали, — он все же беспрерывно повторял их и даже старался произносить в такт устало-неритмичному шагу; он произносил их с иронией, с насмешкой, стараясь заглушить ими горечь пережитых минут, горечь отступления, произносил для того, чтобы затем навсегда вычеркнуть их из памяти, потому что твердо знал: нет, не бессмысленной была смерть тех, кто остался лежать под Соломками, кого баюкала теперь вечная тишина братских могил. Он еще думал с горечью и раздражением о том, что на войне трудно проявить личность, что тот, кто сидит за чертежным столом и изобретает новое оружие, — больше солдат, чем тот, кто стреляет из этого оружия, горбясь в тесном сыпучем окопе; сколько было у него, лейтенанта Володина, хороших порывов, и ничего не удалось осуществить. Батальон отступает; весь полк отступает; вся Шестая гвардейская армия откатывается на новый рубеж. Почему? Этот вопрос тоже вставал в мыслях Володина, и на него тоже не было ответа. Все, что он знал о сорок первом, о сорок втором, когда после сражения на Барвенковском плацдарме наши ар-

мии, потрепанные и обессиленные, отходили к берегам Волги, все, что слышал о тех тяжелых днях от Пашенцева, Царева, Бубенцова: скопища у переправ, разбитые машины, повозки, лошадиные и людские трупы по обочинам дорог, — те кровавые картины отступления, казалось ему, вновь повторяются здесь, на Курской дуге; была битва под Москвой, было сражение у берегов Волги — и об этих победоносных боях знал и не раз слышал Володин, но сейчас он отходил, отступал, подавленный и удрученный, и потому, прежде всего, в памяти возникали те горькие картины первых месяцев войны; он смотрел на зарева горевших деревень, на залитые багрянцем пожара сгорбленные солдатские спины, прислушивался к грохоту канонады, гремевшей вокруг, именно вокруг, как замкнутое кольцо, и еще не испытанное чувство большой утраты охватывало его; он думал, что теперь, пока выровняется фронт, пройдет много недель, хотя точно знал, что батальон к рассвету должен выйти к хутору Журавлиный и занять оборону на высотках у леса; и еще знал, что на опушке того леса тянутся готовые окопы и блиндажи, что там, в окопах, рота получит первое пополнение; он думал о переправах, о целеной гибели от бомбежек, хотя ему уже через семь дней предстояло увидеть иные переправы, иные скопища у берегов русских рек — скопища немецких машин, трупы немецких солдат, трупы, трупы, трупы, и он, лейтенант Володин, не будет считать это нелепостью, а, напротив, скажет, что это вполне закономерно, что так и должно было случиться, что это — справедливое возмездие, которое заслужили фашисты; произнесет эти слова с усмешкой, может быть чуть похожей на пренебрежительную усмешку подполковника Табола, и не станет разглядывать молодые и старые лица убитых немецких солдат... Он идет по шоссе, во главе своей роты — двадцати оставшихся в живых солдат; безрадостные, гнетущие мысли охватывают его. Там, у развилки, где так нелепо погибли семеро бойцов и младший сержант Фролов, той же пулеметной строчкой из «мессершмитта» был смертельно ранен командир батальона капитан Пашенцев; во всяком случае, так определил фельдшер Худяков, перевязывавший рану. Сначала Пашенцева, потерявшего сознание, несли на носилках, потом уложили на одну из автомашин проходившей мимо батареи; Володин вспомнил, как недовольно хмурился командир батареи, которому, очевидно, не очень-то хотелось брать этот груз, но он все же приказал освободить место для раненого в живот пехотного капитана; у командира батареи была перебинтована голова, и на белом

бинте, над виском, виднелось расплывшееся черно-коричневое пятно. Так же, как поразившее Володина спокойное лицо младшего сержанта Фролова, как это, артиллерийского офицера с окровавленным бинтом над виском, — всплывало сейчас в воображении и осунувшееся лицо Пашенцева; в сумерках оно казалось особенно синим и безжизненным.

— Что за остановка? В чем дело?

— Раненого пехотного капитана берем, товарищ подполковник!

— Какого капитана?

— Да вот ихнего, с этой колонны...

Сейчас, перовной, усталой походкой шагая по шоссе, Володин вспомнил и этот разговор между солдатом-артиллеристом и подполковником Табола, обгонявшим на «виллисе» колонну, и, может быть, оттого что ранен был не подполковник, а капитан, что подполковник не пожелал даже взглянуть на капитана, хотя вместе обороняли Соломки, не сказал ни одного теплого слова, а, напротив, резко и раздраженно крикнул: «Какого капитана?» — сейчас, вспомнив о подполковнике, Володин снова, как и при первой встрече с ним, подумал: «Жестокый и грубый». Для Володина Табола был всего лишь жестоким и грубым артиллерийским подполковником, с которым, вероятно, очень трудно служить; он ничего не знал о подполковнике и поэтому рассуждал так, как мог рассуждать двадцатилетний лейтенант; для которого так же, как когда-то для Табола, только начиналась жизнь и сегодня — это было ее первое суровое дыхание; теперь, когда он не думал, что с ним совершается нечто большое, чего он ждал, к чему стремился, — именно теперь, возбужденный и угнетенный тяжелыми мыслями, подавленный, угрюмо шагающий по шоссе, он переживал минуты возмужания. Может быть, потому и запомнилась эта ночь, зарева горевших деревень, несмолкающая канонада, запах дыма и толпа, спины солдат, сгорбленные, облитые багрянцем пожара? Володин шел и думал о капитане Пашенцеве; он не знал, что Пашенцев был когда-то полковником, потом, после Барвенковского сражения, после того как вышел из окружения, разжалован в лейтенанты и теперь вновь, вторично дослужился до капитана, что в его личном деле кто-то по ошибке записал: «Был в плену» — и эта запись окажется более тяжелым ранением, чем пуля с «мессершмитта», влетевшая в живот под Соломками: в последние месяцы войны, уже перед штурмом Берлина, Пашенцева отзовут, снова покажут ему подчеркнутые жирной красной чер-

той слова «был в плену» и отстранят от командования, и затем — потянутся долгие годы хлопот и разбирательств, и только спустя почти пятнадцать лет, уже седого, измятого жизнью человека, его наконец восстановят в прежнем звании, в звании полковника, которое он носил еще до войны, восстановят в партии и назначат персональную пенсию; нет, Володин ничего этого не знал и не мог предположить, для него Пашенцев был всего лишь отличным командиром, чем-то напоминающим князя Андрея по чистоте и благородству души. В ту секунду, когда Володин прощально смотрел в синее, в сумерках казавшееся совершенно безжизненным лицо Пашенцева, и сейчас, когда все это вновь возникало в воображении уже с большей ясностью и четкостью, потому что в воспоминаниях всегда все представляется четче и яснее, он опять подумал об этом сходстве когда-то найденного им в книге идеала с встретившимся в жизни человеком, и на какое-то мгновение ему даже показалось, что, если бы капитан не был ранен, если бы шагал сейчас во главе колонны, все было бы иначе, во всяком случае, было бы не так тягостно, как сейчас, но Пашенцева уже где-то за хутором перегрузили в санитарную машину и отправили в армейский госпиталь, а батальон вел близорукий сутуловатый лейтенант, бывший сельский учитель естествознания, которого Володин почти не знал и смотрел на него равнодушно, даже с некоторым недоверием, как обычно строевые офицеры смотрят на штабистов.

Небо кажется черным от пожаров, и в этой черноте где-то высоко-высоко надрывно гудят бомбардировщики; трудно понять, чьи это, наши или немецкие, куда летят, на восток или на запад, но, очевидно, на восток, потому что впереди по горизонту вспыхнули и скрестились тонкие лучи прожекторов; от их желтого мерцания будто светлее стало на шоссе, и Володин снова увидел всю растянувшуюся на полверсты колонну, совсем не похожую на боевую единицу, на батальон, а так, беспорядочная толпа одинаково одетых и очень усталых людей... Через много лет после войны, еще безвестный журналист, литературный сотрудник областной газеты, Володин опишет это отступление, эту ночь и колонну в ночи; он опишет и зарева пожаров, и тревожные стрелы прожекторов, бороздивших небо, и непрерывный орудийный гул, сопровождавший колонну, и лица шагавших рядом солдат: Чебурашкина, безусого, самого молодого в роте, который, очевидно, тоже пережил в эту ночь свое возмужание; Сафонова, нерасторопного, спокойного пулеметчика, который и в отступлении, утомленный

и усталый, не изменил своей привычки делать все по уставу и нес пулемет на плече, как положено носить его на маршах; Щербакова, того самого солдата с бородавками на пальцах, который сначала привязывал белую портянку к автомату, а потом ходил в контратаку, — он не снял с убитого сапоги, как советовал младший сержант Фролов, а откопал свои и оттого шел бодро, бодрее всех, и нес на плече два автомата, свой и немецкий, — все это вспомнит и опишет Володин, но, прочитавший тома разных военных мемуаров, изучавший архивные документы, он добавит к этой картине еще одну, которая произошла тогда же, в ту ночь с пятого на шестое июля, но не на Обоянском шоссе, по которому двигался, растянувшись в полуверстовую колонну, оборонявший Соломки батальон, а в Кентшинском лесу, вблизи Мазурских озер, совсем недалеко от восточнопрусского городка Растенбурга, в ставке Гитлера «Вольфшанце», «Волчьем логове», откуда он четыре с лишним года руководил военными операциями на Восточном фронте. В ту ночь Гитлер, напряженно следивший за действиями своих дивизий на Курской дуге, разъяренный неудачами, хотя ему сообщали далеко не все подробности о неудачных атаках танковых ромбовых колонн, — разъяренный неудачами Гитлер вызвал к себе в подземный город, в глухой бетонный каземат, генерал-полковника фон Шмидта, командующего четвертой танковой армией, действовавшей на Белгородском направлении, как раз в полосе обороны Шестой гвардейской, и раздраженно сорвал с его плеч погоны...

Под хутором Журавлиным батальон сделал последний десятиминутный привал. Солдаты сошли на обочину и прямо на траве, не снимая скаток и вещевых мешков, а только положив к ногам автоматы, сидя и полулежа отдыхали, курили, пряча махорочные самокрутки в рукава; большинство молчало, а кто и переговаривался с соседом, то произносил слова тихо, полупшепотом, будто в ночи, в этой настороженной темноте боялся обнаружить себя; луна зашла, и при отсветах горевших вдали деревень тьма казалась особенно густой, так что не было видно ни глаз, ни лиц, а только смутные очертания человеческих фигур.

— Ты в сорок первом отступал?

— Нет.

— А я, брат, повидал досыта, во как!..

— Не сорок первый.



— Не сорок первый, а еще нахлебасмся, силища!..

— У нас силища — тоже немеренная...

Говорил пулеметчик Сафонов и еще какой-то боец, которого Володин никак не мог узнать по голосу: или Щербаков, или бронебойщик Волков, или его подручный Щеголев? Сначала Володин старался уточнить в памяти, кому все же принадлежит этот скрипучий голос: «У нас силища — тоже немеренная», но через минуту уже стал размышлять над содержанием этой фразы, а еще через минуту повторил ее как открытие; все, о чем он думал весь этот день, что чувствовал и пережил, — все словно соединилось в этих несложных словах, только что произнесенных или Щербаковым, или Волковым, или Щеголевым; и у самого Володи́на силища — тоже немеренная, он чувствует это, сжимает кулаки и прислушивается к напряженному подрагиванию пальцев; потом разжимает ладони и опять мнет и крошит в темноте сырые комки земли. Он лежит, навалившись спиной на свежий могильный холмик, и не замечает этого: ему и в голову не приходит, что здесь, у дороги, может быть чья-то могила, — скорее всего, это просто бруствер, а по ту сторону бруствера окоп; не догадывается и тогда, когда нащупывает рукой торчащую из земли сучко-



ватую жердь с пятиконечной звездочкой наверху; звездочку он не видит, обхватывает жердь ладонью и подтягивается. А над головой снова звучит скрипучий голос:

— Чья-то могила.

— Ну?

— Звездочка...

Володин приподнялся на локте и увидел, как солдат, приблизившись к фанерной звездочке, раскуривает сигарку и читает надпись. Через ладони, сложенные в рупор, свет падает на лицо. «Это же бронебойщик Волков!»

— Кто похоронен?

— Вроде женщина.

— Хм...

Бронебойщик снова раскурил сигарку, и опять стали отлично видны красноватые отсветы на его лице и на серой фанерной звездочке.

— «Людмила Морозова, — негромко прочел он, — регулировщица, двадцать пятого года рождения...»

Смысл слов не сразу дошел до сознания Володина; потом он вскочил и попросил бронебойщика посветить еще сигаркой; он не успел прочесть слова, а только увидел первые заглавные

буквы «Л» и «М», но и этого было достаточно; команду «Подъем!», переданную по цепи из конца в конец колонны, он уже не услышал; в то время как солдаты, ворча и ругаясь, медленно поднимались и один за одним, разминая ноги, выходили на шоссе, он, ошеломленный и потрясенный этой неожиданностью, смотрел на едва заметные в ночи очертания пятиконечной фанерной звезды; в его полевой сумке лежали медальоны смерти девушек-регулирующих с развилки, переданные сержантом Шишаковым, и он вспомнил развилку, палатку, пятнистую, цвета летней степи, рыжеусого сержанта, который, как свекор-ворчун, оберегал своих подчиненных; хитроватая старицкая улыбка, скорее похожая на усмешку, чем на улыбку, голос с непритворной крестьянской хитрецей — все это в какое-то мгновение промелькнуло в голове Володиной, он вспомнил и последнюю встречу с Людмилой, и разговор с Шишаковым в санитарной роте, где тот просил передать медальоны старшине Харитошину, низенькому лысому старшине; только теперь Володин вдруг сообразил, что находится как раз у того хутора, у хутора Журавлиный, который называл умирающий старый сержант Шишаков; только теперь подумал о медальонах, среди которых был и ее медальон, Людмилы Морозовой, адрес ее части и домашний адрес... Солдаты выстраивались на шоссе, колонна уже двигалась вперед, сотни кованых и некованых сапог зашуршали по мелкой дорожной гальке, а Володин все еще не шевелясь стоял у могилы; столько смертей видел он в этот день, и эта — последняя, совершенно оглушившая его; именно сейчас, в эту минуту, больше чем когда-либо он почувствовал, что круг человеческих страданий не имеет границ. Он погладил рукой корявую жердь, нагнулся, разгреб и впустил пальцами место, где лежал, и захватил в ладонь несколько комочков сырой и холодной могильной земли. Когда вышел на шоссе, в ладони еще была зажата земля.

Впереди, над видневшимися вдали крышами хуторских изб, вставал тяжелый и дымный военный рассвет; через час батальон займет оборону на высотах, по лесной опушке, а еще через час все начнется сначала: воздушный налет, артиллерийская канонада, стремительно наползающий черный танковый ромб; все повторится сначала, весь бой, но с большим ожесточением, с неодолимой жаждой победы.

Для старшего возраста

Анатолий Андреевич Ананьев

ТАНКИ ИДУТ РОМБОМ

Роман

ИБ № 8614

Ответственный редактор
Н. В. Нахимова

Художественный редактор
Т. М. Токарева

Технические редакторы
И. В. Саврунова и И. С. Широкова

Корректоры
О. В. Габоян и Э. Н. Сизова

Сдано в набор 15.02.86. Подписано к печати 24.09.86. А10227. Формат 60×84¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт обычн. Печать высокая. Усл. поч. л. 11,16. Усл. кр.-отт. 11,63. Уч.-изд. л. 11,53. Тираж 100 000 экз. Заказ № 3007. Цена 70 коп. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглаволиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Суховский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

К ЧИТАТЕЛЮ

*Отзывы об этой книге
просим присылать по адресу:
125047, Москва, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.*

Ананьев А. А.

А64 **Танки идут ромбом: Роман/Худож. Г. Филатов. —**
М.: Дет. лит., 1986. — 190 с., ил. — (Военная библио-
тека школьника).

В пер.: 70 к.

Широкоизвестный роман о событиях Великой Отечественной войны — о трех днях знаменитой Курской битвы. Его герои, и молодые и умудренные опытом, хотя и находятся в составе батальона, обороняющего деревушку, глубоко понимают значение военных событий, всего хода войны в целом.

Автор — известный писатель, лауреат Государственной премии РСФСР им. Горького, Герой Социалистического Труда.

А $\frac{4803010102-522}{M101(03)86}$ 173—86

Р2

